

ТАНЕЦ и СЛОВО



История любви
Айседоры Дункан
и Сергея Есенина

ТРУБНИКОВА
ТАТЬЯНА

Татьяна Трубникова

**Танец и Слово. История
любви Айседоры Дункан
и Сергея Есенина**

«РИПОЛ Классик»

2015

УДК 82-311.2(02.055.2)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Трубникова Т. Ю.

Танец и Слово. История любви Айседоры Дункан и Сергея Есенина / Т. Ю. Трубникова — «РИПОЛ Классик», 2015

ISBN 978-5-386-09592-5

История знакомства и любви, жизни и смерти поэта Сергея Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан — не увлекательный роман, а цепь трагических обстоятельств, приведших сначала его, а через два года и её к неминуемой гибели. Союз, поразивший современников и оставивший множество вопросов для последующих поколений. В талантливой танцовщице поэт встретил женщину, гениальностью не уступавшую ему самому. Книга Татьяны Трубниковой — тонкое исследование взаимоотношений легендарной пары.

УДК 82-311.2(02.055.2)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-09592-5

© Трубникова Т. Ю., 2015
© РИПОЛ Классик, 2015

Татьяна Юрьевна Трубникова

Танец и Слово

История любви Айседоры Дункан и Сергея Есенина

© Трубникова Т. Ю., 2015

© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», издание, оформление, 2016

Об авторе

Татьяна Трубникова окончила режиссёрско-сценарную мастерскую М. И. Туманишвили и А. Н. Леонтьева по специальности киносценарист игрового кино. Работала в соавторстве над телесериалом «Любовь слепа» продюсерской студии 2V по романам Е. Вильмонт. Член Союза писателей России. Лауреат первого открытого конкурса «Подольское творчество» в жанре «проза» за повесть «Шахид» и рассказ «Леденцы» (2006).

Книга «Танец и слово» принципиально отличается от всех ранее изданных книг о С. Есенине, чувствуется, с какой любовью автор относится к своим героям, как филигранно выверяет каждый факт и каким глубоким уважением проникнуто повествование, созданное в память о яркой любви двух мировых гениев.

Отзывы читателей

«Герои романа живут так, словно читают молитву. Их „божественная“ и человеческая сущности слиты воедино. Соприкосновение светлого, лучезарного мира искусства и страшной реальности разрывает души Есенина и Дункан. Татьяна успешно справилась с замыслом, в основе которого раскрытие богатейшего внутреннего мира Есенина и Дункан».

Сергей Грачёв, член Союза писателей России

«С первых страниц романа становится ясно – автор приложил немало усилий, изучая документальные свидетельства 20-х годов прошлого века. Но главное – промысел Божий – это не просто слова. Ничто в этой жизни не происходит случайно».

Юлия Пузырёва, заведующая Центральной библиотекой г. Подольск

«Под впечатлением, очень сильным. Будто зрение сместилось в те года. Роман глубокий, контрастный, правдивый, погружающий в эпоху, вызывающий мистическое чувство неотвратимости рока, хрупкости человеческой жизни. И наперекор судьбе – силы поэтического слова».

И. И. Бабаянц, член Союза художников России

Она, летящая над жизнью, всегда ощущала себя наследницей древних богов. Её так и звали: божественная. Да она и сама знала это о себе. Сильное тело с прекрасными, текущими линиями делало каждое её движение исполненным тигриной грации и бесконечного, идущего изнутри, из самой сути её существа, обаяния. Богиня, рождённая из пены. Она – дочь ветра и волн, легкокрылого полёта птицы и пчелы.

Исида – таким было её имя. Подобно древней богине, властной над жизнью и смертью, благоденствием и трагедией, вмещающей в себе самой – всё...

Но ещё она была просто женщиной. Да, её обожали и превозносили, ею восхищались и бесконечно удивлялись её власти над зрителями. Едва она делала малейшее движение, самое простое, даже не связанное с ритмом мелодии, все взгляды устремлялись на неё. Только на неё, потому что не смотреть на неё было невозможно. В каждом повороте головы на грациозной шее, в каждом шаге сквозила её божественная сущность.

И ещё она всегда смотрела вдаль, будто в просторы океана, где кромка неба сливается с горизонтом, даже если просто смотрела кому-то в глаза. И всегда была безумно влюблена... Но только не сейчас! Увы, увy. Всё кончено. Для неё всё кончено. Её бедное, ушибленное сердце! Так она думала в этот вечер.

Исида сидела в театральной ложе. Зал был колоссален по своему размеру и избыточно роскошно оформлен. Огромный занавес красно-кирпичного цвета с кистями обрамлял полукруглую сцену. Музыка Стравинского заполняла собой всё пространство. Она дрожала: этот композитор – гений. Звуки, рождённые им, глубоко проникали в её истомлённое, иссушенное сердце. Они раздирали её, ранили, хотелось рыдать. Русский балет Сергея Дягилева в Гранд-опера в Париже. Новая «Весна священная». Шумный успех. Машинально она отмечала в постановке черты, заимствованные из её танцев. Да, сильное она оказала влияние на русский балет. Фокин – талант, ловкач и молодец. Его «Умиравший лебедь» для Анны Павловой – это обнажение чувств. Исида знала, что до её появления в России русский балет был мёртв, мёртв, тысячу раз мёртв. А вообще, балет она не то что не любила – она его не выносила. Какой изувер мог придумать затягивать прекрасное тело в тугие корсеты, скрывать ноги оборками, а пальцы уродовать пуантами? Но она слушала музыку. Её волшебство уносило далеко-далеко от золочёной ложи, ввысь, туда, где расписанный летящими ангелами потолок, казалось, растворялся в бескрайнем небе...

Исида уже знала, как можно танцевать под эту музыку. Звуки воспламенили её чувства. Сгорая, она могла двигаться так, что зрители запоминали её танец на всю жизнь. Вот и сейчас, прикрыв глаза, она видела себя свободной, в обычной своей прозрачной тунике, порхающей по сцене босиком...

Париж! Сколько счастья было здесь, сколько успеха и – одно самое страшное горе, горше которого не бывает на свете. Не забыть. Ничто уже не изменит излома печали в линии её губ. Великая, необузданная, как вулкан страстей, бессмертная и несчастная Элеонора Дузе, всмотревшись в её лицо, сказала однажды, что на её лбу – печать трагедии. Всё так и есть.

Исида слушала музыку иначе, чем другие люди. Потому что впускала её не только в душу, она впускала её в своё тело, в самую его сердцевину, а потом, замерев, следила, как музыка эта начинала жить в ней, ввинчиваясь бесконечной спиралью в руки, ноги, шею.... Каждая клеточка её тела начинала вибрировать в одном ритме с этой музыкой. Живя в ней, дух музыки свободно распоряжался её движениями. Она становилась совершенно безучастной к окружающему: всё, что не эта звучащая сейчас музыка, переставало для неё существовать. Она не знала, какое следующее движение будет в её танце, потому что сама становилась музыкой, отдавая тело в безраздельную власть её духа...

Как ужасно, что тело не может быть молодым вечно. Но что же всё-таки её ещё держит здесь, в Париже?! Внезапно от этой горькой мысли она очнулась, едва не захлебнувшись обрвавшимся аккордом.

Она не танцевала, а сидела в ложе. Чёрное платье из бархата и тончайшей органзы, расшитое вручную синими и голубыми текучими цветами, было свободным, мягким, струящимся. Но и оно не было совершенно в её вкусе. Будь её воля и не будь светских условностей, всю жизнь ходила бы в свободной греческой тунике. Голубой – её любимейший цвет.

Шёлковый шарф на плечах свисал длинной бахромой. Он очень нравился Исиде, потому что благодарно отвечал каждому её движению...

Открыв глаза, Исида увидела незнакомого человека. Нет, она не испугалась. Она вообще никогда ничего не боялась, с самого детства, а пережитая трагедия и вовсе сделала её любопытно-бесстрашной.

Человек взял её руку и медленно поднёс к губам. Бородка и усы щекотали кожу. Странные внимательные глаза за очками смотрели на неё, не мигая и обволакивая... Она не могла оторваться от этих глаз, от некрасивого, в общем-то, лица незнакомого мужчины. Наконец, он заговорил: что просит прощение за вторжение, что восхищён её талантом, что он из Советской России. Слышала ли она, Исида, о такой стране? Говорил по-французски он прекрасно, хотя и с акцентом. В его словах она прочитала замаскированную иронию. Да, она слышала о такой стране! И она восхищается «рус револююс»! Исида говорила с вызовом. Пламя, ещё недавно дремавшее в ней вместе с печальными мыслями, вдруг ожгло её вдохновенное лицо, осветило синие, будто брызги моря, глаза.

Человек удивленно и радостно поднял круглые брови. О! Он видел её в зале Дворянского собрания в Санкт-Петербурге в 1905 году. Творилось нечто невообразимое. Небывалый триумф! Странное чувство испытал он, глядя на неё тогда. Будто слышал шелест прибоя, которого не было, будто видел виноград, который она срывала своими прелестными руками-лебедями, будто ветер моря коснулся его горячих щёк... Всё это было вызвано к жизни движениями её тела. Сначала он думал, что сходит с ума, думал, что он – один такой, однако потом убедился, что окружающие видели то же... Тогда он понял, что она – божественна. «Божественная Исида», – сказал он ей, проникая в её глаза странным своим взглядом.

Лишь музыка Стравинского заставила очнуться Исиду и понять, что антракт окончился. Потому что человек, назвавшийся Григорием, говорил о Советской России. Говорил вдохновенно и страстно, как одержимый.

Поневоле она заряжалась его необычайной энергией и энтузиазмом, потому что по сути своей тоже была революционеркой. Всегда, с самого детства. Делала всё, что хотела. Благо, мать не ограничивала её, не одергивала, впрочем, как и её старшую сестру и двух братьев. Но это неважно: они – не революционеры, она – да! Исида помнила, как пяти лет отроду сражалась с воспитательницей за право иметь своё мнение о том, что Санта Клауса не существует! Её наказали – пусть, но правда дороже! Помнила, как бросила школу в десять лет. Школой для неё стало выживание в глухих к страданиям бедняков американских мегаполисах, а образованием – встречи с самыми просвещёнными поэтами, писателями, художниками, скульпторами и композиторами её времени, до вершин которых Исиду вознес гений природного танца.

Ещё девочкой она убегала с занятий к берегу моря, чтобы танцевать. Там, вдали от посторонних глаз, она сбрасывала с себя всю одежду, потому что нелепое платье с множеством юбок не позволяло солённому ветру ласкать её ноги, а ботинки-колодки тянули к земле, и кружилась нагой на песке. В те волшебные мгновения она была свободна и совершенно счастлива. Свобода для неё всегда была символом и синонимом счастья, непременным условием полёта души...

Всё, что мешало этому полёту, она безжалостно рушила. Её шеи и пальцев никогда не касалась тяжесть драгоценностей – они отнимали у неё свободу! Она не признавала брака и условностей, связанных с ним.

С каждым словом Григория Исида увлекалась всё больше и больше. Будто зримо видела великое будущее великой страны, построенной заново. О! Их законы, идеи, стремления – всё напоминало вдохновенную Древнюю Грецию, в которой жили по-настоящему свободные люди! Грецию, которая всегда была для неё идеалом. Грецию, в которой процве-

тали искусства, в которой вольные мысли воздвигали идеальные в своих пропорциях храмы, и где даже одежда ниспадала свободными складками.

О, новая страна! Григорий сказал, что сейчас этот новый мир, воздвигнутый гением вождя, страшно лихорадит. Голод и война, неприятие со стороны других стран и множество врагов внутри. Всё это раздирает молодую республику. Но у них есть главное – будущее! Их идеи проникнут во все умы во всём мире, а потом будет мировая революция!

Исида смотрела в купол зала, вместо люстры – бездонное небо, и ангелы расступились перед красным закатом... Балет шёл к концу, но она уже не следила за тем, что происходит на сцене. Она не могла больше слушать Стравинского. Ей хотелось сейчас, именно сейчас, чего-то другого, ещё более мятежного, ещё более бурного, что могло бы хоть на мгновение заглушить ту боль, которая теперь всегда жила в ней.

– Выйдем, – сказала она.

С балкона Гранд-опера открывался величественный вид на площадь Оперы и разбегающиеся в стороны и вдаль улицы. Прохладный ветер немного успокоил её.

– Приезжайте в нашу страну, – вдруг сказал Григорий.

Она встрепелулась, будто её проггла молния. Григорий даже вздрогнул – таким жаром полыхнуло её лицо.

Она перевела взгляд на город. Сверкающая огнями площадь врезалась в память этим мгновением. Небо вдруг стало ближе. Боль отпустила.

– Как?! Что я там буду делать?! – спросила Исида.

– Жить, творить, дарить себя детям. Мы организуем для вас школу танца. Вашего танца! – ответил Григорий.

Не переводя дыхания, сразу спросила:

– Сколько детей у меня будет? Я хочу – тысячу.

Он обещал.

Это была её давняя мечта. Правда, у неё была когда-то своя школа, её рай, где она могла учить детей танцевать. Сначала она содержала её сама, потом – Лоэнгрин. Так она его звала, рыцарь, спасший её, как настоящий Лоэнгрин спас принцессу Эльзу. Лоэнгрин позволял Исиде бездумно тратить деньги, потому что обожал её.

Мечта жгла её сердце. Передать своё ощущение музыки десяткам юных созданий. Передать им гений своего жеста, зримое воплощение всех оттенков чувств и мыслей, заключённых в таинстве льющихся звуков. Перед сном, едва Исида закрывала глаза, она видела мысленным взором чудо-танец, не сольный, а исполняемый с двумя десятками танцовщиц. У каждой – своя партия, своя линия, подобно тому, как в оркестре каждый музыкант вплетает в общее звучание свой оттенок мелодии. Этот танец-оркестр столь чудесен, что от него невозможно оторвать глаз. Ожившая музыка. Девятая симфония Бетховена.

Совсем недавно мечта о большой школе уже готова была осуществиться. В Греции! Сам Венизелос обещал им. Увы, короля Константина укусила обезьяна, и он умер. Досадный случай. Именно такие меняют судьбы мира. Правительство сменилось, Исиде пришлось уехать. К чему тогда удивляться, что этот вечер в Гранд-опера так обжёг её?! Будто незнакомец заглянул на самое дно, в самый тайник её души и вынул оттуда нечаянное, трепетное, самое важное в её жизни...

Григорий был рад, очень рад её согласию. Хотел поцеловать её руку. Но она схватила его ладонь и с силой, по-мужски встряхнула. Он рассмеялся:

– Хорошо, товарищ Исида! Будем вместе!

Очарованная, она задумчиво шла по Гранд-опера. Ниши, украшенные причудливой лепниной в виде сказочных растений и цветов, массивные золотые светильники, необозримый расписанный потолок – всё странным образом откликалось в ней. Исида не любила

вычурность отделки, она понимала красоту тоньше. Но высота потолков, напротив, ей нравилась. Именно благодаря ей она чувствовала себя здесь как дома. Королевская академия музыки и танца – так назывался этот дворец во времена Короля-Солнца, а позже на фронтоне появилась надпись: Academie Nationale de Musique. Апполон над куполом простёр руки с лирой к небу. Не только греки строили великие храмы...

Исиду вдруг пронзила отчётливая мысль: она сюда не вернётся. Неужели это так? Смотрела на статуи, на маски радости и горя, стараясь запечатлеть их навечно. Как всё это похоже на её жинь... Бесконечная смена декораций... Как же она устала от фальши! И только горе её неизбежное – подлинно.

Ей страстно захотелось сбросить со своих плеч Париж, роскошь его дворцов, его узкие улицы. О, боль!.. Зарыть её в белых холодных снегах, в необъятных просторах этой новой страны. Она помнит их – видела из окна поезда. Чёрное и белое. Только страна тогда была другая. Другая страна на тех же снежных просторах...

Удивительные вещи говорил ей Григорий, будто видел её сердце насквозь: что у неё лицо человека, порвавшего все связи с жизнью и не знающего, куда двигаться дальше, какой сделать шаг. Мёртвое лицо. Он прав. Исида вздрогнула. В самом деле, что ей осталось? Жизнь выпита до дна. Горчайшая цикута. Что в ней было, кроме Гения жеста, невероятным образом вселившегося в неё? Всё остальное – иллюзия, всё остальное было отнято...

Человек из ложи – странный, проникающий в самую душу, как дьявол, – говорил нечто столь удивительное, что сердце снова забилося. «Есть на свете страна, где вы могли бы забыть всё. Потому что это не то, что можно встретить в других частях света. Новый Эдем. Первородная земля. В ней всё заново, с чистого листа. У всех. Там ваше место...»

Много позже, вспоминая эту встречу, она думала, что Григорий будто околдовал её. И время пропало – после антракта. Будто и не было его. В чём дело? В её воображаемом танце под музыку Стравинского? В странном взгляде Григория через стёкла очков? В её безутешном горе и понимании своей ненужности, отчужденности от этого любимого когда-то города, от всех людей, также любимых когда-то? Или в том, что она рассталась недавно с обожаемым Архангелом, её вторым гением, и чувствовала себя вырванной из жизни с корнем? Но самое нелепое и, пожалуй, пугающее заключалось в том, что у неё было ощущение, будто Григорий говорил ещё что-то, но она забыла, забыла сразу же, в то же мгновение.

Что?! Какие-то русские слова... «За-ла-та-я га-ла-ва»... Что это?

Теперь перед ней лежало письмо, размашисто подписанное высоким чиновником из правительства «нового Эдема». Кто он, этот человек со звучной скорпионьей фамилией? Письмо построено чётко, тонко, вежливо, властно и вместе с тем тепло. Оно – её охранный грамота, её виза, её дверь в неизвестность.

О, какую истерику устроила её лучшая подруга Мэри, когда узнала о решении ехать, смотреть на «рус револююс»! «Безумие! Тебя убьют! Они варвары!».

Исида пожалала плечами: не всё ли ей равно, хоть бы и убили, – не начинала ли она свою жизнь много раз с тех пор, как родилась? Чего стоит её нищее детство с бесконечными переездами из одной конуры в другую!

Отвратительное ощущение: помнить, что слышала нечто странное от Григория, и не иметь силы восстановить это «нечто» в памяти. Будто ударила головой и всё забыла. Такого не бывает! Что он говорил ей? Что?!

Слёзы сами собой потекли по щекам. Всплыло американское детство – удивительным образом, чётко, в лицах, жестах, ощущениях. Она всегда всё воспринимала через движение.

Её мать, переживавшая крушение своей единственной в жизни любви, была беременна ею и чувствовала такое отчаяние, что ничего не могла пить, кроме шампанского, и есть, кроме устриц. Исида шутила потом: «В утробе матери я питалась пищей Афродиты. Потому и танцевать начала там же...»

Что первое она запомнила? Кроме пожара в дешёвой мебелирашке и крепких рук, спасших её, – ужас при упоминании отца. Для матери он был дьяволом во плоти. Исида даже думала, что у него есть рожки. Велико же было её изумление и детский восторг, когда она впервые увидела седовласого красавца мужчину! Он кормил её мороженым в шикарном кафе. Перед ней была целая сладкая гора, обильно политая шоколадом. Она методично уничтожала её. Раньше в своей жизни она и не видела такого великолепия.

Отец спросил её:

– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

– Я буду танцовщицей, – ответила Исида, не отрывая взгляда от мороженого.

Потом отец повёл её в магазин игрушек. О! Её детское сердце растаяло, как мороженое. Она и представить себе не могла ничего подобного. Что она знала? Убогое существование среди трущоб, в дешёвых комнатках, практически впроголодь... с музыкой Шопена и Бетховена. А здесь! В сверкании ярких ламп, будто живые, стояли куклы. Несомненно, это были первые фарфоровые игрушки. Они, американцы, любят всё новаторское. Глаза разбежались в восторге и муке. Потому что она была не в силах обнять глазами всё. Длинный ряд кукол... Глаза её выхватили одну. Мальчик. Фарфоровый чистый лоб с нарисованными над ним чёрными вихрами.

– Как зовут эту куклу? – спросил отец.

– Виктор, – ответила Исида, не задумываясь. – Хочу ещё одну!

Она лихорадочно искала глазами то, что соответствовало бы её мечте, но не находила. Тогда она показала на белокурую голубоглазую куклу-девочку.

– А её как зовут? – спросила продавщица.

– Серж! – был ответ Исиды.

– Но это девочка!

– Вовсе нет!

Дома огромными ножницами она без тени содрогания отрезала белокурую косу куклы, содрала прекрасное платье в оборках и лоскутами, какими-то ленточками кое-как обернула ноги, подобно брюкам. Рядом с Сержем она любила засыпать, а Виктора никогда к себе в постель не клала, смотрела на него издали.

Исида верила в приметы и гадания, особенно после того, как однажды страшные видения, посетившие её, сбылись.

Это было в холодных просторах той самой загадочной страны, куда звал её Григорий. Она была там на гастролях. Ехала со спутником в пролётке, как вдруг её охватил неимоверный ужас, рыдание сдавило горло. «Смотри! – воскликнула она. – Видишь эти детские гробы?!» – «Где?! Там ничего нет...» – ответил спутник. Но она отчётливо видела среди сугробов гробы. Вернувшись в Париж, не могла найти себе места от тревоги. Танцевала божественно, как никогда раньше, будто чуя, что это последние дни жизни её души. И эту свою последнюю радость, последний свет она непременно должна была отдать людям – всем, без остатка. А потом случилось то, что убило её навсегда: тело её осталось жить, но душа умерла...

Россия! Удивительная, загадочная страна. Почему всё самое яркое в её жизни, но и болезненно ранящее так или иначе связано с ней?! Чужое, неприятное, холодное пространство. Толпы людей на её выступлениях. Горы цветов. Темнота, мёрзнувшие в тулупах извозчики. И ещё нечто важное, что она должна обязательно понять, понять через эту страну, через Россию. Ведь это не случайность, что Григорий позвал её туда!

Исида решила пойти к знаменитой гадалке. Никогда раньше не ходила, а тут... Мэри пугала её, что, по слухам, в России в супе можно найти отрезанные пальцы! Что её, Исиду, изнасилуют сразу же, едва она пересечет границу! Свирепый апаш в красной косоворотке и с

ножом в зубах. Исида заливалась смехом. Уже давно она думала, как бы ей умереть. Выпить яду? Только чтоб не больно... Ну и чушь с супом выдумали!

Гадалка узнала Исиду. Была польщена. Из-под её лёгких, сухих, маленьких пальцев веером легли карты.

– О! Тебе предстоит нечто необычайное. Некое путешествие. Не столько опасное, сколько чреватое множеством неприятностей – больших и малых. Миллионы будут в твоих руках. Да! Главное – ты выйдешь замуж!

При этих словах Исида вскочила, скривив рот и рассмеявшись. Всему миру известно её отношение к браку! Никогда! Никогда!!! Это отжившая мораль, глупость, пошлость и лицемерие! Её окружали потрясающие люди. Роден хотел обладать ею. Все её мужчины, главные мужчины её жизни, были гениями. Но ни за одного она не вышла замуж! Даже за миллионера Лоэнгрена, готового сложить к её ногам всё своё состояние в обмен на её свободу! Никогда!!!

Выпалив это в лицо опешившей гадалке, она бросилась вон.

Бежала по винтовой лестнице вниз, скорее прочь от этой лжи, а вдогонку летело:

– Выйдешь! Выйдешь замуж! И года не пройдет!!!

Единственная ученица, из самых первых, что осталась верной Исиде и не побоялась ехать с ней в «новый Эдем», Мира, с вниманием вглядывалась в незнакомый пейзаж за окном поезда. Ехали они долго. Исида думала, что путь никогда не кончится.

Вещей она почти не взяла с собой. Все наряды великого Пуаре оставила в Париже. Зачем они ей теперь? Только красная туника, чтобы танцевать, есть, спать и ходить по улицам. Вспоминала свои прежние приезды в Россию. Первый визит перевернул все её представления о мире, о богатстве, об искусстве. Совсем ещё юная, тоненькая, гибкая, невесомая, будто сам дух танца, будто три боттичеллиевские грации: Красота, Наслаждение и Целомудрие, единая в трёх ликах... Там, в России, она быстро поняла, что такое жгучий русский мороз. Помнила, как извозчики кутались в свои тулупы. Она была безумно влюблена в те дни, и тем тяжелее, невыносимее было временное расставание с любимым, с её первым гением, с её Тедди, чем больше холодных злых километров пролегал между ними. Она писала ему письма, откуда только могла. Она радовалась своей огромной любви: была наполнена ею, танцевала ею, и даже терпкий вкус расставания уже не был столь неприятен... Есть пьянящая сладость в короткой разлуке, потому что Исида знала: он ждёт, ждёт, напряженно ждёт её, ждёт их встречи. И она – тоже! Первая неделя страсти – на полу в его студии, – она бесконечно вспоминала её. Там не было никакой мебели, два ковра и её шуба – вот их ложе. Они питались любовью, засохшими булочками и тем, что удавалось добыть ему в редкие вылазки. Увы, у них почти не было денег – они ели в кредит! Но как им было весело! Странность положения усугублялась тем, что никто не знал, где Исида: ни импресарио, ни родня, ни подруги. Главное – не знала её строгая мать... Тедди похитил Исиду.

Серая неясная мгла. Её везли в гостиницу, тёплую и роскошную, когда она вдруг увидела странную процессию – угрюмую, убитую горем. Даже издали было видно, что люди подавлены. «Что это?!» – спросила она, чувствуя сердцем невыразимый ужас. Гробы, гробы, гробы. Ей ответили, что хоронят расстрелянных рабочих – в ранний час, чтобы никто не видел. Ком в горле никак не хотел проходить... А потом был шумный успех в зале Дворянского собрания – цветы, оvationи, её любимая музыка Шопена, в которую она погружалась полностью, до самого дна души. *C'est beau*. Знакомство с петербургской элитой, высшим светом, русскими князьями, Кшесинской, замечательными актёрами, музыкантами, композиторами, балетмейстерами...

Ей помнилось её первое утро в России. Она открыла глаза на огромной гостиничной кровати под пышным балдахинном. Номер люкс. Но что это? Она протерла кулачками глаза.

Кшесинская... в невероятном наряде из тончайших кружев и перьев, на стройной шейке – ручеек роскошных бриллиантов; она была подобна сказочной райской птице, залетевшей в окно. Кшесинская пришла знакомиться. Рядом с Исидой, дышащей естественной красотой, она выглядела существом с другой планеты. Прекрасная Матильда сказала Исиде: «Здесь, в России, золото то, что блестит. Ты не завоеешь никого одним искусством движения. Тебе нужно измениться».

Исида покачала головой. И оказалась права. Ей не надо было меняться – это она изменила мир своей простотой. Роскошь русского двора не прельстила её. Потому что успех, поклонение, дары, что были сложены к её ногам – от цветов и денег до дружбы великих князей, – казалось мишурой, когда она вспоминала мрачную процессию, виденную ею! Странное дело: видение это продолжало жить в ней, будто поселилось в сердце навсегда...

Её представили великому князю Сергею Александровичу, великому князю Михаилу, графу Курагину. Она никогда не благоговела перед титулованными особами и вела себя с ними так же естественно, как со всеми другими людьми. Когда-то, нарушая этикет, она отказалась встать в присутствии короля Болгарии, чем совершенно сразила его. Король Фердинанд настолько проникся её эпатажем, что приглашал жить в своём дворце...

Исида улыбалась балетмейстеру Фокину, болтала со Станиславским, но чужая боль жгла её. Неужели эти люди не ведают?! Инстинктивно, будто зная своё предназначение, она впитывала эту боль, всё больше изменяясь под её влиянием. Она всецело была на стороне тех, отверженных, несших бездыханные тела своих родных и близких. Исида всегда, с самого детства, в силу врождённого благородства характера была на стороне обиженных и угнетённых. Достаточно было капли, чтобы всколыхнуть её сердечко. Здесь, в холодном Петербурге, она бросила в лицо генералу Трепову, отдавшему приказ о расстреле: «Я люблю полонезы. Музыку свободы. И революции!» Генерал, резко развернувшись, поспешил уйти.

Уезжая, Исида знала, что никогда не забудет тот первый свой рассвет в России. Он останется с нею, как зарубка на сердце, как первый урок, полученный здесь. Уже тогда она чувствовала, что Россия станет чем-то особенным в её судьбе...

Чёрное и белое... Странная, странная страна. И они с Мирой в ней – две невесты каким ветром занесённые птички. Исида представляла, как их будут встречать на перроне первые лица нового государства. Тот самый, со скорпионьей фамилией, что так мило писал ей. И все большевики «рус революс»! «Большевик» – значит «большой». С большой душой и устремлённостью в будущее, с силой и мощью нового... И дети! Много-много детей! Они будут дружно махать ей красными флажками... Так ли всё будет?

Когда с парохода, в Ревеле, они пересели на поезд, у Исиды возникло щемящее чувство невозврата. Будто не границу пересекали они, а переплывали мифический Стикс, откуда ещё никто и никогда не смог вернуться...

На станциях творилось нечто невообразимое. Большие крестьянские семьи, с самоварами, узлами, невыносимым скarbом, толпились у поездов в тщетной попытке продолжить путь. Ад на земле. Однажды, выйдя на какой-то станции, чтобы купить провизию, Исида, точно флейтист из Гаммельна, вернулась к своему вагону с целой вереницей детишек, бегущих за ней. Она раздала им все сладости, что у них были, и экспромтом дала урок танца.

Ужасны были картины нищеты и запустения. В девятьсот тринадцатом году она видела Петербург во всём его великолепии, а теперь, в Петрограде, она бродила, точно по заколдованному королевству, где по воле злой волшебницы все уснули на сто лет. Тёмные окна особняка Кшесинской, подаренного балерине великим князем, пугали пустотой. Исида помнила её, тонкую, как стрекоза, милую, манкую, – та ходила на все её выступления... Когда же кончится этот мёртвый сон?

Она и вправду думала, что в Москве её встретит толпа поклонников, представителей Новой Расы, Нового Мира. Что она упадёт в их дружеские объятия. С сильно бьющимся

сердцем, завернувшись в алые шарфы, накинув красный плащ и тщательно подведя пунцовой помадой губы, она смело ступила на верхнюю подножку. И...

На перроне их никто не встречал. Исида была ошеломлена. Неужели в Кремле не получили её телеграммы? Единственным человеком, заинтересованным в общении с ними, был их спутник ещё от Ревеля, дипкурьер, молоденький мальчик, большевик, по его собственным словам, из бывших юнкеров. Он был так худ и мил, так бегло говорил по-французски и по-английски, что совершенно очаровал Исиду. К тому же он видел её последнее выступление в России перед Первой мировой войной и теперь был счастлив видеть великую танцовщицу так близко... Чахоточный румянец на щеках, тонкие пальцы музыканта. Он помог вынести их багаж. Видя, что дамы в полной растерянности и не знают, куда им идти, предложил свои услуги найти гостиницу. Он был смущён не менее Исиды, что её – божественную – никто не встретил. «Только не стоит мечтать об особых удобствах. Гостиницы у нас не работают, как прежде».

Он отвёз их в «Метрополь», во второй Дом Советов. Разумеется, Исида была здесь прежде, в прошлой для России жизни. Что же она увидела теперь? Из единственной комнаты, которую удалось раздобыть, была вынесена вся мебель. Видимо, для распределения нуждающимся, лишь одиноко стояла кровать, да и какая кровать – грубые доски были уложены на металл. Кровать – одна на двоих. И никакого постельного белья. Смрад, грязь, мухи и крысы. Мира расплакалась: «О боже, здесь нет даже элементарных удобств...» Но Исида пожала плечами – всё это ерунда, она видела и не такое.

Мальчик-большевик приготовил им яичницу на примусе. После сухого чёрного хлеба из пайка, хлеба, от которого Исиде с непривычки было плохо, горячая ароматная яичница показалась чудом из чудес. Она с удовольствием ела. Ей было всё нипочем: в самом деле, она ещё в Париже говорила, что боится духовного голода, а не физического. В Европе и Америке она задыхалась, а здесь надеялась глотнуть воздуха свободы.

Улыбнувшись юному большевику, Исида попросила:

– Покажите нам Москву.

Был вечер, тёплый, ласковый. Насколько же лучше было на пустынных улицах, чем в гостинице!

– А где все люди? – спросила она у мальчика.

– Больше трёх не собираться... – ответил тот.

Исида ничего не поняла, но почему-то так и не спросила, что это значит.

Мальчик долго и вдохновенно рассказывал им о Стране Советов. Он был необычайно воодушевлён. Исида заразилась его уверенностью и снова почувствовала подъём. Всё что пока происходило с ним – ерунда. Здесь было главное, к чему стремилось её сердце, то, к чему неосознанно она шла через всю свою жизнь. Утром она пойдёт к наркому просвещения, и всё встанет на свои места...

К рассвету обе спутницы маленького большевика уже были готовы умереть за новое дело, за Страну Советов и её гения-вождя. Идти в гостиницу не было сил, кое-как добрались до вокзала и нашли состав, с которого сошли утром, в нём и устроились на ночлег. В холодном вагоне было куда приятнее, чем в гостинице с крысами. Уснули они сладко. Далёкий перестук колёс, пробивавшийся сквозь дрему, словно приглашал: «До-мой, до-мой, до-мой». Ещё не поздно вернуться, ещё не поздно...

Нарком просвещения встретил Исиду вежливо, но напряженно, как неприятный сюрприз. Смотрел в ласковые, наивные, будто из голубого фаянса глаза и думал: «Получится у этой барыньки её затея? Навряд ли...» Вслух, однако, он этого не сказал. Размышлял: «Кто мог послать барыньке эту телеграмму?! От меня?! От меня послать?!» Стал рассказывать гостье об испытаниях, выпавших Красной Армии, об ужасах, из которых росла и крепла новая жизнь. Исида слушала, приоткрыв рот. И вдруг из голубых глаз хлынули слёзы. «Я – крас-

ная! – сказала она. – Мне ничего не нужно. Пусть будут хлеб и вода, главное – мне нужны дети, тысяча пролетарских детей. Я буду учить их танцевать! Это будут новые люди! Сильные, грациозные, здоровые! И мы будем танцевать! На огромных стадионах, для всех! Без денег! Буржуазный мир весь прогнал. Простые люди не могут себе позволить видеть искусство, а мы изменим это».

Нарком вздохнул, снял трубку телефона и кому-то позвонил два раза. Первого собеседника только слушал, задав вопрос. Со вторым говорил сам, волновался, приказывал... Странная, шипящая русская речь, как бурный поток. Потом взял лист бумаги, что-то написал на нём, поставил внизу широкий скорпионий росчерк своей фамилии. «У вас будет дом, дети. Человек сорок, возможно... А там посмотрим», – сказал он.

Исида была разочарована. Сорок детей! Всего сорок! Но ей нужно продолжить себя, своё искусство! Вот почему она просила о тысяче! Что делать? Однако с этой минуты вокруг неё началось кружение жизни, словно скорпионий росчерк запустил некую пружину. Как из-под земли появился некий человек лет тридцати, назвавшийся Нейдером. У него было ласковое имя: Иляилич. Знаток искусств – тонкий, умный, вежливый. Ни одного лишнего слова, ни одной эмоции. Разумеется, для Исиды, не понимающей ни слова по-русски, он стал в первую очередь переводчиком и секретарём.

Иляилич привёз их с Мирой к небольшому особняку, открыл дверь, а потом перевёз их багаж. Единственное, что Исиде понравилось в выделенном доме, – большая лестница на второй этаж. Резанула глаза вычурная лепнина и господские вещи, ещё остававшиеся здесь. Стены были обиты розовым атласом – ужасно! Исида думала, что никогда уже такого не увидит. Не унывая, она развесила везде голубые и кумачовые занавеси, накинула алые шарфы на абажуры. Свет стал таинственным и уютным. Всего за какие-то полчаса интерьер удивительно преобразился. Дом сразу стал её домом, пропитался её сущностью. Исида покружилась радостно, сделала несколько па. Удовлетворённая, позвала Нейдера: «Будем пить чай! Русски самовар!»

Заботами Нейдера к ним с Мирой прикрепили кухарку. Из продуктов закупили одну картошку, но сколько изысканных блюд можно было приготовить из неё! Исида поняла это, только оказавшись в России. Любимым её лакомством стала мятая картошка, фаршированная луком и самым простым сыром, который не так-то просто было найти в новой России.

Увы, миниатюрность особняка и впрямь не позволила бы разместить более сорока учениц. Но главное – здесь был зал, вполне пригодный для танцев.

После того как она дала объявление о приёме в школу танцев, по всей Москве быстро разнёсся слух о богатстве Исиды и о сытной жизни. Неудивительно, что желающие записаться хлынули толпами. Матери со слезами уговаривали взять их деток. Вовсе не потому, что очень хотели, чтоб они выросли гармоничными людьми и талантливыми танцорами, а потому что им нечем было их кормить.

Исида в ужасе смотрела на это вавилонское столпотворение. В конце концов для своей школы она выбрала не самых способных, а самых измождённых и голодных...

Сама она не воспринимала голод, как нечто ужасное, потому что всё своё детство никогда не ела досыта. Голод заставляет рано взрослеть и бороться. Она прекрасно помнила, как мать, когда в доме не было хлеба, садилась за фортепьяно и играла им Баха, Бетховена и Шопена. Это отвлекало от мук голода и позволяло расти духовно...

Но эти дети... они были настолько худы, что, казалось, не ели неделями, месяцами. Как они только держались?

Однажды, дойдя до крайности, не выручив деньги за уроки музыки, мать попыталась продать связанные собственноручно вещи – у неё ничего не вышло. Исида, тогда семилетняя, решила взять это дело на себя. Она натянула на голову шапочку, остальные нехитрые

вещички сложила в мешок. И... через некоторое время вернулась домой с деньгами, распродав всё.

Позже, когда она подросла, она решила получать деньги за свой дар танцовщицы. Такое решение она приняла в 1895 году в Чикаго, куда они всей семьей приехали с двадцатью долларами, больше у матери не было. Этот город ошеломил Исиду: дома тянулись к небу, а в бедняцком районе, где они сняли конуру, не было элементарных удобств... Деньги быстро растаяли. В отчаянии, под палящим солнцем – стояла жара – Исида ходила целый день, пытаясь продать кусок старых кружев. Наконец ей это удалось. Значит, можно будет купить помидоры на два дня...

Куда она только не ходила, кому только не предлагала свой дар танцовщицы. Её либо выпроваживали сразу, либо, едва взглянув, качали головой. Почти потеряв веру – не в себя, а в город, где было немало театров, – Исида встретила человека, согласившегося пристроить её в одну танцевальную труппу. Увы, без собственного костюма импресарио отказывался её смотреть. Тогда она пошла в самый богатый магазин тканей и попросила юного продавца за прилавком дать ей займы лент и тканей. Она подробно объяснила, для чего ей это нужно – получить ангажемент. И ей пошли навстречу! Знала бы она, что ленты ей отпускал тот самый Селфридж, который через пятнадцать лет откроет в Лондоне шикарный магазин своего имени, станет миллионером.

Исида понравилась импресарию, и он выдал первый в её жизни аванс.

Этой же осенью в далёкой России, в тихом селе на берегу Оки родился её «третий гений».

Но и дальше в Америке всё шло отнюдь не гладко. И тогда, неоперившаяся, без опыта и денег, Исида предложила матери, доверявшей ей безгранично, отправиться в Европу. В Европу, только в Европу! Потому что не понимает Америка искусства, застыла на уровне примитивного мюзик-холла.

В Париже, в Лондоне или где-нибудь ещё она найдёт глубоких, тонких и умных зрителей, которые умеют отличить симфонию от картошки!

Исида ещё вернётся в Америку победительницей. Её соотечественники будут поклоняться ей, рукоплескать, как и весь мир. Но с чем можно сравнить все те мытарства, унижения, боль, голод, которые она претерпела на пути к мировой славе?! Хотя... Если бы её спросили, готова ли она пережить всё это снова ради того, чтобы танцевать, она бы ответила бы: «Да!!!» Потому что, когда музыка проникала в неё, рождая из глубин её тела движение, она забывала обо всём. Вот это и есть главное в её жизни, её воплощение, её суть. Она – волна, вечно набегающая на песок, она – луна, вечно сияющая в ночи, она – лоза, вновь и вновь тянущаяся к солнцу...

Когда маленькая Исида танцевала у моря, плеск волн всегда успокаивал, умиротворял её. Было ей хорошо или плохо, она бежала к морю. Тихо садилась и смотрела вдаль, пока на сердце не сходило ощущение безвременья. И вот тогда она начинала танцевать. Ножки разбрызгивали солёную воду. Как юная Венера, танцевала она в пене, радуясь, радуясь, радуясь...

Три тысячи лет назад, думала она, волны точно так же ласкали песок. В таких же серых скалах мучился Прометей. Тот же закат был, и те же солёные гребни на горизонте. Исида любила подставлять лицо солнцу, чтобы наполниться его светом, чтобы сиять и чтобы отдавать. Она – тоже Прометей. Она должна отдать свой огонь, свой танец – людям.

Многие поклонники говорили ей, что она светится, что рядом с ней им хорошо. И что она – ангел. Так подумала и её подруга Мэри, когда в первый раз увидела её. Исида привязала Мэри к себе лучами своего света, раз и навсегда.

А море. Море дало ей всё: ощущение вечности, ритма, характер, силу. Свой танец она часто сверяла с движением волны. Повзрослев, поняла: она хотела бы умереть в море, только в нём. Возвратиться к себе.

Здесь, в Москве, моря не было – неоткуда было взять Исида энергию. Солнце тоже почти не казалось свой сияющий лик. Лето двадцать первого года выдалось на редкость дождливым, а уж осень и вовсе вогнала Исиду в тоску. Когда ехала в Россию, думала, что увидит многотысячные демонстрации, море из кумачовых флагов и одежд. Увидит – и наполнится силой новой жизни до краев. Вдохнёт в себя воздух свободы и будет знать, что родилась не зря, коль видит это. Но ничего этого не было. Увы, цвет улиц варьировал от серого к тёмнокоричневому. Грязь, нищета, неуловимо разлитая в воздухе опасность. Непроглядно тёмные ночи внушали ей суеверный страх. Она никогда не гасила полностью свет в своей комнате. Потому что однажды, выглянув в окно, похолодела от ужаса. Ей показалось, что она видит своих погибших детей, её родных малюток; они шли по Пречистенке, взявшись за руки. Голова закружилась, во рту пересохло. Она боялась отойти от окна – вдруг исчезнут? Едва слышные шаги таяли во тьме. Тогда она бросилась с криком вниз, распахнула двери рывком, выскочила на середину улицы, оглянулась: никого. Металась, бегала, как безумная. Она знала: они умерли, их нет, они не могут тут идти, взявшись за руки... Побежала стремглав вниз, к храму Христа Спасителя, падала, ничего не различая сквозь завесу слёз. Неведомая сила влекла её к реке. Туда, в чёрную воду, ушли её детки. В такую же большую реку в Париже...

Ноги почти не двигались. Она ослабла, обмякла. Села на мостовую напротив махины храма и опустила голову. К ней подошёл уродливый калека. Она думала – просить милостыню. Но он что-то прохрипел каркающим голосом, показывая пальцем на храм. Станные русские слова. Она не поняла их. «Здесь будет болото. Грязные грешники будут плескаться в нём. Игуменья сказала... Ты знаешь, где живёшь? В Чертолье...» – вот что сказал он. И крестился, крестился...

Обессиленная, разбитая, Исида пошла домой. Почему её детки явились ей? Никогда не увидит она их больше – нет их, нет. Кровь её крови, плоть её плоти, часть её... Она тоже мертва. С того страшного дня. А тело живёт. Зачем?

Ворвалась в дом, рыдая:

– Мира, Мира! Налей, налей скорее! Налей!!!

Мира знала, что делать. Стокан водки. Шампанское не поможет.

Влив в себя водку, Исида пошла в свою комнату. До утра она не спала. Сидела, застыв, замерев, на постели. Мира приоткрыла дверь и вздохнула: на Исиду невозможно было смотреть – столько скорби в неподвижной фигуре. Лишь мутный сентябрьский рассвет принёс Исида облегчение.

Он искал её везде. Обегал весь сад «Эрмитаж». От Зеркального зала к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты в парк – шарить глазами по скамьям. Нет её нигде! Что за неуловимая чудо-птица заморская! В груди что-то жгло и кипело. Казалось, ничего и никогда в жизни он так не желал. А ведь не видел её никогда живьём, вот смех-то! Плясунья, царица заморская. Да слышал он о её приезде, слышал!

Долго-долго, как прорастает дерево из взбухшей земли, росло в нём странное любопытство к ней – необъяснимое ничем, щемящее любопытство. А тут приятель-художник:

– Да здесь она! Вот только видел!

– Не может быть!

– Я тебя познакомлю.

Сукин сын...

Он и сам не знал, что за буйство им овладело – азарт, кураж. Только невтерпеж. Вынь да положь. О! Её нет. Скрипнул зубами. Тряхнул золотыми вихрами.

Ночь упала на Москву. Позвал к себе художник. Вечеринка у него, богемная. Отмахнулся. Потом всё ж поплелся... А в душе закипала обида: уж не смеется ли над ним художник? Странное чувство – будто он на пороге чего-то важного, вот сейчас откроет эту дверь...

С того мгновенья, как он влетел в комнату, ворвался, как ураган, с воплем: «Она здесь?! Скажите! Где она?!» Чуть не рыдая: «Где?!», Исида уже не могла оторвать от него глаз. Она полулежала на кушетке в позе римской патрицианки – расслабленная, раздумывавшаяся от штрафного, огромного бокала водки, поднесённого ей. Красная туника струилась по великолепным плечам. Маленький рот был пунцовым. Глаза застыли синим.

Он бросился к ней в ноги. Через пару мгновений её пальцы уже ласкали рожь его волос. Он смотрел в её глаза, не отрываясь, словно спрашивая: «Ты меня узнала, ты узнала меня?!»

С этого первого прикосновения она слилась с ним всем своим духом. Словно вспомнила знакомую, прекрасную мелодию, а она умела слушать и слышать... Она и раньше ласкала его, как сейчас. Тысячу, тысячу раз. Его черты она помнила всегда, бережно неся в себе с самого рождения. Приоткрыв рот, сама не зная почему, произнесла те самые, заветные два слова, почти единственные, что она знала по-русски, те слова, что всплыли в памяти после Гранд-опера: «За-ла-тая га-ла-ва...»

Все, кто был в комнате, кто видел этих двоих, ахнули, ведь не говорила же Исида по-русски. Да и вообще, с самого прихода сюда она не произнесла ни слова.

Золотая голова, тяжёлая, как гигантский плод, как сказочная чайная роза, лежала на её коленях. Наклонилась к нему близко-близко. Какое чудесное, юное, вдохновенное лицо! Поцеловала в губы: они были мягки и послушны. В таком поцелуе особая сладость. А именно: истинная сладость поцелуя в полной расслабленности и покорности. Сказала, коверкая, «по-русски»:

– Ангил!

Удержаться не смогла – поцеловала вновь. Он ответил. Не так, как в первый раз, – с норовом, с характером, со своей собственной сутью.

Словно обожглась.

– Тщёрт!

Поэт – услышала она знакомое слово. Так вот он кто. Гений?! Наверное. Все её мужчины и любовники были гениями – другие не могли встать вровень с ней, исчезали, не смея коснуться. Степень чистоты и высоту духа человека она определяла по тому, на какое расстояние тот мог приблизиться к ней. А этот – сразу в душу. С полшага.

– Серёжа... Серёжа... – шептала ему Исида.

Смотрела, смотрела в небо его глаз, не отрываясь. Голубой огонь. Огромные, как у ребёнка, радужки чистого оттенка бирюзы, без примеси серого. И серости.

Он не знал ни одного из европейских языков. Ах, как она жалела, что ничего у неё не получается с русским! Ей бы сказать ему, что он похож на юного греческого бога, только сейчас спустившегося с Олимпа. А ещё – на её погибшего сына. Он вырос бы вот таким, с такими волосами и с такими же нежными, пронзительными глазами. Ей бы убедить его остаться с ней. Как?! Всё, что у неё есть, – сила её божественного жеста, только он поможет ей. И она старалась. Когда она хотела, мысль становилась её телом. Мысль прорывалась сквозь кожу неуловимыми движениями. И не было человека на свете, который не понял бы её без слов. Ах, ей бы станцевать сейчас для него...

Было четыре часа утра, когда они, не размыкая рук, ушли с богемной вечеринки. Для Нейдера места в пролётке не нашлось – устроился на облучке, рядом с кучером. Они, Исида и Серёжа, сели тесно, словно были одним целым. Долго, исступлённо целовались. Тихо тащи-

лась лошаdёнка Спиридоновкой, Поварской. А где-то, не доезжая Чистого переулка, кружили, кружили... Нейдер растолкал уснувшего кучера:

– Что ты их венчаешь, что ль? Три раза вокруг церкви везёшь!

Серёжа захохотал. Хлопал в восторге себя по коленкам:

– Повенчал! Повенчал, сукин сын!

Исида смотрела на них, не понимая. Иляилич разъяснил: «марьяж», аналой, свадьба. Она тоже весело засмеялась.

Сквозь тьму высилась церковь, словно гигантский корабль, застрявший в узости улочек. Четыре мраморные колонны в кружении выплывали снова и снова. Над алтарем – купол. Ангел со сверкающим мечом сторожил его, провожая их глазами.

На Пречистенке, соскочив с пролётки, словно боясь, что исчезнет её юный бог, растает с рассветом, она крикнула в темноту спящего особняка:

– Чай! Русски самовар!

Но Сергей и не думал никуда уходить.

Традиция шуточной свадьбы, свадьбы «понарошку», была ему хорошо знакома с детства. Дед его, старик несокрушимой силы и характера, широкой русской души, очень любил устраивать такие. Бывало, созовёт полсела по случаю большой прибыли от перевозки товаров на своих баржах, выкатит перед домом бочку вина: веселись, пей и пой, православный народ! Во хмелю и женили кого-нибудь под тальянку. Нигде так не умеют веселиться, как в деревне нашей – до упаду, размашисто, до битья посуды и колокольного звона в ушах... Всё это Сергею очень памятно было, потому и восторг окатил, когда кучер их «повенчал». Будто в детство окунулся в одно мгновение.

– Чай!!! Чай скорее! Он очень, очень хочет чаю. Непременно чаю. Непременно!

Ах, что за царевна-лебедь! Как по лестнице плывёт! Голова кружится от такой походки. Королевна... нет – богиня. А ведь он тоже не лаптем сделан! И у него – походка лёгкая, как у барса... Ах, какой у неё ритм – это же стихи, стихи в движении...

Он очень любил цветы, любые цветы. С самого детства они щемили сердце кажущейся бессмысленностью их появления в мире. А потому казалось: цветы божественны. Когда был маленький, убегал к Оке, лежал над поймой, окружённый высокой травой, и смотрел в небо. Может, оттого глаза его – синие? Воздух напитан пряным ароматом тысячелистника, тимopheевки, ромашки, зверобоя, резеды... Лежал долго, бездумно, как можно только в детстве. Иногда был с книжкой. Читал всё подряд. Возвращался с букетом. Бабушка только головой качала. Потому что – снова за книжку. И зачем букет? Ведь не Троица. Вздыхала: «Дьячок в соседней деревне умом тронулся. А почему? Потому что всё книжки читал! Читать можно только полезное... А цветы осыпаются – мусор один». Священник, Отец Иван, говорил ей, правда, что её Сергей не такой, как все, что он Богом отмечен... Вздыхала.

Когда подрос, уводил с собой гулять на Оку младшую сестрёнку. Приносил обратно на руках – всю в цветах. Придумал делать из тех растений, что со стеблями длинными, настоящие платья и шляпы. Народ дивился. Сестрёнка радовалась, резвилась. Любой цветок подносил к глазам близко: вдыхал аромат, а потом долго рассматривал, как диковинно он устроен.

Ах, она уже не помнила, чтобы когда-нибудь была так счастлива, как к утру второго, после божественной вечеринки у художника, дня. Может, никогда?

Удивительный, истомлённый покой в теле. Словно нет его, тела. Она – дух, один сплошной невесомый дух. Её глаза сияли ему. О! Он очень, очень крепкий. Valide. А не скажешь по первому впечатлению. Но удивительно не это. С ним – танец. Объятия и поце-

луи, ласки и взгляды – танец. Уникальное чувство ритма у этого юного бога. Он отвечает на малейшее её движение, чувствует её чутьем почти звериным. Откликаюсь, соединяюсь, сливаясь, отдаваясь в бесконечном приливном, нарастающем ритме... Ей казалось: в его глазах – море и небо. Что за мальчик!

Смотрела на него, на качающиеся над ней белые кудри, и вдруг «увидела» невероятное: радугу в бесконечной спирали, удаляющейся в небо, спирали, что соединила их. Странное это видение продолжалось мгновение. Может, она уснула? Радуга рассыпалась на миллионы сияющих осколков и накрыла их, растворившись в каждой клеточке тела. Радуга радости. Отдаленно она испытывала нечто подобное – шквал счастья – вместе с последним, самым мощным движением своего танца, будто отпускавшего её душу в зал, к людям...

Он читал ей свои стихи. Она ничего не понимала, но слышала душой. Думала: «Он – гений!» Потому что ясно различала музыку в льющих звуках. Как горело его лицо! Он светился. Радостный, смеялся заразительно, по-детски как-то. «Понимаешь? – спрашивал. – Эх, Сидора! По-русски – ни гу-гу!» – и снова смеялся.

Она не отрывала от него широко раскрытых, удивлённых глаз и чувствовала одно: она должна была его встретить! У него улыбка ангела. Почему-то вспомнила, как в Греции смотрела на падающее в Средиземное море солнце. Щурила глаза, чтоб искры красного золота проникли в сердце...

Ах, какая жалость! Она не знает, как сказать ему по-русски «Je t'aime». Ей просто необходимо это сказать! Она попросит ту чопорную женщину, что занимается с нею русским языком... А то всё «карандаш», «ручка», «дайте мне», «спасибо» и так далее. Нужному она не учит. Ханжа! Исида представила кислое лицо этой дамы, когда та услышит её просьбу, и расхохоталась...

Он сладко, утомлённо спал. Исида разглядывала голубоватые веки, приоткрытый рот, плавные, скульптурные, совершенные линии шеи и груди... Увы. Чувствуя невероятность внезапно свалившегося на неё счастья, где-то в самой глубине, под сердцем, она оставалась мёртвой. Потому что не мог даже этот юный бог исчерпать её огромное горе.

Ему снился сон. Будто видит он ангела, идущего навстречу. Ангел-женщина. Голубые руки-крылья струятся вдоль тела. И синью васильковой брызжут сияющие глаза. Ангел говорит: «Ты никогда не умрешь...» В это мгновение он понимает, что ангел – Исида. Она сделала танцевальное движение, взмахнув руками-крыльями. «Никогда?! Значит – жить вечно?» – переспросил он. «Теперь – да!» – ответила она. «А ты?» – «Я? – безразлично пожала плечами. – Я тоже. Боги бессмертны, мальчик». Рассмеялась серебром...

Он проснулся и вздрогнул от страха. Потому что Исида смотрела на него. Протянула ему бокал шампанского – один из двух, что держала в руках. Повинуясь порыву, оттолкнул её – шампанское разлилось на постель.

– Зачем смотришь на меня? Зачем?! – задыхаясь, крикнул на нее.

Исида ничего не поняла, кроме того, что её милому приснился дурной сон. Поставив полный бокал на столик, грациозно встала и ушла. Он с наслаждением смотрел, как она движется, – с наслаждением и непонятной щемящей болью. Застонал, словно предчувствуя рок будущего, и залпом выпил шампанское.

Что его так привлекло в Исиде? Мировая слава великой танцовщицы? Её богатство? Ах, нет же, нет. Странная, непонятная сила, словно могучая волна, – ноги подкашиваются, устоять нельзя! – несла его к ней, увлекая в пучину...

Он вспомнил свой первый опыт любви. Был тогда уже складный, лицом милый, натурой восторженный. Читал много, сочинял стихи. Непростой, но все ж – деревенский мальчишка. У него было своё любимое место – в амбаре. Там стояла лавка, по старому, по-деревенски, – коник, убранный соломой и застеленный весёлым лоскутным одеялом. На этой лавке

никто ему не мешал предаваться размышлениям, сочинительству и мечтам. Неясным, обманчивым, завораживающим воображение. Он видел себя великим поэтом, любимым, обожаемым всеми. Богатым? Да, богатым. И если закрыть глаза, можно увидеть себя рядом с настоящей принцессой – выбравшей его, именно его! И влагу её ланьих глаз, можно увидеть, и нежность пальцев, касающихся его плеча, почувствовать, и шелест роскошного платья услышать. О! Он сладко грезил, но почему-то знал, что всё это будет, будет с ним! Непременно.

Ему нравилось ходить в гости к отцу Ивану. Священник привечал умную, культурную молодежь. Они ставили любительские спектакли, читали стихи, слушали музыку. Там юный поэт познакомился с двумя девочками-учительницами и, конечно, влюбился. Причем в обеих сразу. Закрутил «любовь». В переписке, разумеется. Играл в спектакле.

Цвела пышная сирень, смущающая разум...

Там же, у отца Ивана, увидела его местная помещица Лидия. Увидела, долго смотрела в юное лицо, а потом зарделась щеками. Была она уже не очень молода, давно замужем...

Они, всё весёлое общество в гостях у батюшки, ели прошлогоднее вишнёвое варенье у большого самовара прямо на веранде в сиреневую дурь. Лидия отвернулась, пытаясь скрыть вдруг охватившую её дрожь. Но он заметил. – Горячий какой... – сказала она.

– Что, простите?

– Ах, да просто чай горячий... – коснулась пальцами обожжённых алым щёк.

Она пригласила его в гости, с другом. Он пришёл. И зачастил. Мать его ругала:

– Что ты там делаешь?

– Ну, читаем, играем...

– Не ровня она тебе... Ишь, нашла с кем играть...

Однажды в их крестьянский дом пришли дети помещицы: мальчик и девочка. Принесли цветы. Два огромных букета. Мать метнула взгляд на сына и отвернулась. Он так радовался цветам, трогал их, подносил к губам, купал в розовом дурмане свои белые кудри...

Как-то раз, уже в середине июня, они с Лидией решили съездить в Яр на прогулку. Как назло, в назначенный день погода не задалась с самого утра. Тучи на небе собирались огромными сизыми космами – одна черней другой, того и гляди грозой разразятся. Что было делать, ведь так давно мечтал ось о поездке! Кучер Лидии наотрез отказался везти их, размашисто перекрестившись на темнеющее небо. Лидия, смеясь, сама села на козлы. И покатили! После вчерашней жары яростный ветер приятно холодил грудь, проникая сквозь тонкую ткань. Иногда Лидия оборачивалась и улыбалась ему. Не успели они доехать даже до леса, как обрушился ливень. В минуту оба промокли насквозь. Как же они смеялись! Он смотрел на Лидию и думал: «А она красива. И молода». Весёлые искорки плясали в её глазах: «Настоящее приключение, да? Никогда у меня такого не было». Он кивал: «Да!»

Укрылись под деревьями и верхом коляски. Было холодно и мокро. Смотрели друг другу в глаза. Снова смеялись как безумные. Потом целовались...

Упала ночь. «Девочка моя», – шептал он. Как же она стройна и бела! Как берёзка. Лунный отсвет окрасил её русые волосы в зелёный цвет. Русалка... А дождь всё лил и лил. Бесконечный шорох капель... Мириады звуков. Сырая, тёплая, летняя земля. Прелый, чарующий запах ночи. Тинный, русалочий аромат близкого пруда. Сосны – стражи-великаны, охраняющие их...

Вернулся он утром. Бледный, молчаливый и ликующий. С этого дня он полюбил тот лес перед Яром особой любовью.

Исида с детства отличалась самостоятельностью и крайней независимостью нрава. Более того, будучи младшей в семье, она являлась несомненным лидером. Поддавшись её уговорам, мать отправилась с ней в Европу. Деньги на билет у них были только в один конец. То есть им буквально не на что было жить по приезде. Что за дух авантюризма толкал их!

Несомненно, он был выпестован многими отчаянными поколениями ирландцев, их предков. Назад, в Старый Свет! Плыли на грузовом судне для перевозки скота. Измученные животные в трюме всё путешествие душераздирающе ревели. Один из братьев Исида зарёкся после этого употреблять в пищу мясо. И всё ж, путь был исполнен особой романтики для всех, особенно для юной танцовщицы. Она видела океан, сливалась с ним взглядом и духом. Любимое её место было на носу их судёнышка. Исида смотрела вдаль, в своё великое будущее, впитывая в себя бесконечный ритм волн...

Когда Исида была совсем крошкой, буквально лет трёхчетырёх, она убежала от матери, гуляющей в городском парке со всеми детьми. Её не сразу хватились. Едва нашли. И как! Ещё издали мать увидела группу людей, кольцом окруживших кого-то. Подбежала к ним спросить... И ахнула. В центре стояла Исида и кланялась зрителям. Среди них был старый бродяга негр, какая-то немыслимая нищенка, дети и ещё несколько прохожих. Неподдалёку шарманщик крутил ручку, извлекая незамысловатую мелодию. Малышка объявляла: «Выступает божественная танцовщица Исида!» Зрители смеялись. «Вот как я могу!» – кружилась, делала реверансы, подсакивала. Была само очарование. Ну как такой не похлопать.

Совсем ещё кроха, она не могла бы этого объяснить, но скрипучая мелодия шарманки каким-то непонятным образом превращалась в её воображении в сладостные звуки, оживала в ней, рождая чистый, кристальный отклик в каждой клеточке её тела, рождая некую волшебную химическую реакцию, отчего руки и ноги сами начинали двигаться... вверх... вверх... вверх... Увы, маленькое тело не могло выразить того богатства чувств, что таилось в нём.

Мать хотела растолкать всех и выдернуть дочь из этого ужасного круга вшивых попрошайек, но почему-то остановилась: что-то в движениях несмышлёной девчушки завораживало взгляд.

Шарманка замолкла. Исида снова грациозно раскланялась. Только после этого мать осторожно взяла её за руку и увела от зрителей, не сказав ни слова упрека... Спустя годы Исида, конечно, ничего не помнила о том своем первом танце.

Он любил тишость спящей избы, розовый свет на божнице, кротость ликом святых, уютного, жмурящегося на рассвет старого кота. Чтобы выскочить в росную прелесть, бежать, бежать, скользя, до реки. Вдохнуть в себя холодную голубизну и оставить её согревать радостное, прыгающее сердце.

Вода утром тёплая и гладкая, как зеркало. Над ней дымка. Расплескать её, растревожить, разорвать. А потом ждать, высыхая на неярком пока солнце, когда прилетит и сядет в качающийся над головой синий колокольчик пузатый шмель. Или, лёжа, обирать ягоды земляники вокруг... Подняться – и удивиться в тысячный раз виденному простору... Так удивиться, чтоб ветер синью опрокинутого в реку неба наслезил глаза...

Был он тихим мальчишкой, не задирой и не грубияном. Если случалось драться, так это когда ему говорили что-то про мать. В одно мгновение исчезала голубизна глаз, скрываясь чёрным зрачком. Не помня себя, бросался на кого угодно, пусть и сильнее... Ходил потом с синяками. Бился отчаянно, не жалея себя ни секунды. Когда вырос, представлял себя в детстве совсем иначе. Будто всегда заводилой был всех проказ и потасовок. Сам начинал, первый. А потом и поверил этому. Крепко поверил, всей душой. На заре юной он любил проникновенное пение бабушки, её долгие молитвы, чтение канонов и акафистов, её сказки и были... Бабушка ласково смотрела на него, вздыхала, говоря: «Ужо ты тих... Добро б проказил... Что-то из тебя будет...»

Она часто брала его с собой в пешее паломничество по монастырям ближним и дальним. Он уставал, а когда плакал, бабушка говорила ему: «Терпи, ягодка, Господь счастья даст...»

Часто вместе с другими мальчишками помогал отцу Ивану в церкви, что была рядом с их домом. Все молитвы знал на слух. А потому «Богородицу» почему-то слышал и пел не так, как все: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в жёнах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Вместо этого читал «около Спаса родила еси души наши». Потому что маленьким думал, что Богородица родила всех людей. Около Спаса. И его тоже – она мать. Бабушку очень любил, но знал, что она – бабушка. Часто смотрел на икону Богородицы в углу. Казалась она ему матерью... Ну и что, что нет её рядом, вон её портрет, на иконе. Он с ней каждый день говорит молитвами. Как живая, смотрит на него ласково. В глазах нежность огромная. Когда чуток подрос, стала она ему казаться прекраснейшей из дев. Увы, таких на Земле не встретишь.

Над рекой, впивая глазами неохватные дали, он думал: «Бездна. И Его божественное присутствие надо всем. И он, Сергей, тоже уйдёт когда-нибудь. И будет смотреть сверху незакатыми глазами, будто лунами двумя...» Уже тогда знал о себе, что будет... так и будет...

Что он помнил самое раннее, самое первое? Ужас перехваченного дыхания. Он тонет, тонет в середине реки! Захлёбывается, треплет ручонками воду. Далёкий, грубый смех двоюродных дядьев, подростков.

Ещё: земля глубоко внизу. Спина лошади скользкая. Он вцепился пальцами в гриву из последних сил, припал к живой карей спине. Лошадь бешено мчится, земля прыгает под ним. Он разобьётся, он упадёт! Потому что нет сил держаться. Каким-то чудом ужас заканчивается. Он не может разжать пальцев. Дядья, те же дядья, помогают отцепить.

Ещё: бабушка гладит его по светлым кудрям перед сном. Гладит и крестит, гладит и крестит...

Слава танцовщицы наконец пришла к ней. Это случилось в Будапеште. Прекрасной весною, цветущей сиренью. Её ждали. После первых же концертов публика буквально носила Исиду на руках. Её, как богиню, всюду по городу возили на белых лошадях, в экипаже, полностью, до самой крыши, убранном белыми цветами. Удивительно, но слава настигла её одновременно с первой любовью. О, это не значит, что она не влюблялась до этого. Но её открытость и откровенность, бесхитростность и отсутствие всякого жеманства, полная свобода внутренняя и внешняя – всё то, что отличает современную, сегодняшнюю, женщину, – ставили её избранников в тупик. Буквально в ступор вводили. Она сбивала с толку, ошарашивала, вызывала недоумение. Вплоть до того, что это казалось им какой-то немислимой уловкой. Доходило до смешного. Один из избранников Исиды вскочил с постели, бросив ласки, узнав, что она ещё девственница. И покинул её скоростно, умоляя «простить его». Ещё один боялся даже дотронуться до неё, всё говорил и говорил о возвышенных материях, заставляя Исиду томиться и сгорать. А третий, с гомосексуальными склонностями, оставил её, с красной розой в волосах и бокалом шампанского в чутких пальцах, в полном недоумении. Мужчин можно понять – таких женщин, как Исида, тогда просто не было. Но ведь богиня и не может вести себя иначе. Она не может быть зависимой и покорной воле обыкновенных смертных.

Но та весна в Будапеште сделала из невинной нимфы необузданную вакханку. Причина тому – её Ромео. Уже на следующий день она поняла: так вот что значат все её танцы! Как она могла танцевать без этого?! Вот зачем вся музыка, весь ритм и восторг этого мира!

У Ромео были бархатные горячие глаза дикого мадьяра, курчавые иссиня-тёмные волосы, рост и сложение Аполлона. Он был актёром драматического театра. Исида звала

его «Ромео» потому, что он играл эту роль. Он часами читал ей Шекспира, представляя её Джульеттой.

Однажды они были вдвоем, он, как всегда, произносил длинные монологи, но почему-то часто останавливался, к щекам его прилиwała кровь, он стискивал руки, будто не в силах продолжать дальше. Наконец, окончательно утратив власть над собой и потеряв голову, он отнес её на ложе...

Как она танцевала той весной! Она воспевала эту прекрасную страну, восхитительный запах сирени, ту всеобщую любовь, в которой она купалась, свою юность, но более всего, конечно, Ромео! Она была ослепительна. Исполняя «Цыганскую песню» Шопена, она сливалась с Ромео всей своей кровью, «Вакх и Ариадна» были полны смысла в каждом жесте. Апофеозом её триумфа стал «Голубой Дунай» на музыку Иоганна Штрауса. Он был чистой импровизацией. Простой по исполнению в её понимании, этот танец вызывал восторг публики и шквал патриотического безумия. Зрители заражались её ритмом, напоминающим прибой бесконечной волны, а она, кружась, вбирала в себя энергию земли и всего неба, энергию, неподвластную смертному, вбирала – и отпускала её в зал. Вбирала – и отпускала. Люди плакали в экстазе и блаженстве. Ей пришлось много раз повторить этот вальс...

Однажды они с Ромео провели три чудесных дня и три волшебных ночи в маленькой венгерской деревушке, словно на краю земли. В камине потрескивали поленья, разгоняя вечернюю серость. Свечи Исида потушила. Она танцевала для него, только для него. Красные искры металась в огне, головёшки щёлкали, длинная изогнутая тень Исиды плясала рядом, мелькая по стенам... Она включила Ромео в свои выступления. Несмотря на свою красоту юного Аполлона, рядом с ней он смотрелся простовато. Она затмевала его. Не переигрывала, а именно затмевала. Это было тяжким испытанием для молодого самолюбия актёра, ведь он был обыкновенным мужчиной, не богом.

Весна сменилась спелым, тёплым летом. Везде, на всех просторах, в полях и лесах – везде им был дом...

Однажды он сказал, что, если она хочет счастья с ним, ей придётся навсегда остаться в Будапеште, стать его женой, рожать детей и бросить танцевать. Они лежали в этот момент на стоге сена. Исида навсегда запомнила мирный, тихий, очень романтичный сельский пейзаж. И тот закат. Запомнила невыносимой, дикой болью. Ещё он сказал, подумав, что, пожалуй, будет лучше, если он продолжит свою карьеру, а она – свою... К этому моменту она уже знала, что беременна. Знал и он.

Ах, боже, какая боль.... До этого Исида понятия не имела, что эмоции могут быть настолько материальны. Боль росла и росла, захватывая в свою орбиту и стог, на котором они лежали, и простор поля, и кромку леса, и весь закат – всё вокруг. Исида согнулась, обхватив себя руками. Она чувствовала, где очаг боли. В том самом месте, под грудью, где кончаются рёбра, из которого, как открыла она сама, рождался её танец, его волшебство.

Так закончился первый вальс любви, отзвенел «Голубой Дунай». В тот же день она подписала контракт на выступления по всей Германии. Он, её Ромео, дожил до девяноста лет. Умер в Лос-Анджелесе, сделав отличную карьеру в театре и в Голливуде.

Она потеряла ребёнка Ромео. Много недель пролежала в прострации, в частной клинике, окруженная лучшими докторами и сиделками. Казалось, ничто не сможет вернуть её к жизни. В такие моменты не верится, что счастье возможно. Она ничего не делала: лежала и часами смотрела, как облетают за окном последние листья с будто нарисованных деревьев. Боль, та самая, что заставила её сжаться под красным закатом, давно отпустила, увы. Исида была совсем слаба и... пуста, будто боль уничтожила ту силу, которая рождала неповторимую суть её движений. Наконец деньги на счету иссякли. Всё ушло на докторов. Однажды в Будапеште, Ромео был тогда с ней, она подняла со стола купюры и подбросила. Они сыпа-

лись и сыпались дождём на пол. «Деньги! Денежки! – смеялась она. – Вы – ничто!» Может, к счастью, что они кончились? Ей волей-неволей пришлось думать, как заработать деньги снова...

Настал день, когда она открыла чемодан и, обливаясь горячими слезами, достала свою любимую красную танцевальную тунику. Ту самую, в которой танцевала для своего Ромео. Казалось, она ещё пахнет сиренью... В тот миг она дала себе слово, что никогда не оставит искусства. Кто бы ни возник на её пути.

Когда-то давно, ещё в самом начале, Исида пыталась понять природу танца. Она часами простаивала в их пустой квартирке-студии в Чикаго, где не было даже постелей, скрестив под сердцем, руки. Мать пугалась за её рассудок, но Исида просто думала. Она пыталась уловить неуловимое, открыть невозможное, то, что до сих пор было скрыто от людей. Как рождается даже не само движение, а его прообраз, его душа? Что происходит? Как этим управлять? Как вбросить в себя силу?!

В Европе, в Париже, она покорила немыслимую для многих высоту. Сливки парижского общества, знать, лучшие, умнейшие и талантливейшие люди того времени – писатели, скульпторы, художники, драматурги – все единодушно признали её искусство, а саму Исиду приняли в свой круг.

Многие часы они с братом проводили в Лувре. Исида танцевала в зале греческого искусства, а её брат рисовал этюды, наброски. Сторож сначала с подозрением следил за ними, а потом понял, что эти двое – невинные сумасшедшие. Там, под пристальным взглядом мраморной Афродиты, Исида поняла, как рождается дух её танца. Он исходит из места под сердцем, где кончаются рёбра. Его, как мотор, нужно завести. Для этого необходимо сосредоточиться, отключиться от всего окружающего... и вспомнить взгляд Афродиты...

Боги и богини окружали её. Она танцевала в сладостном упоении. В бесконечном кружении ей начинало казаться, что складки туник у статуй колышутся морским бризом, что боги смотрят на неё, как живые. Смотрят и благословляют. Никогда до Парижа она не видела изображения греческих и римских богов, даже на картинках. Так отчего ж так сильно чувство узнавания?! Здесь, в этом зале, среди старинных статуй, Исида чувствовала себя вернувшейся домой. С тех пор свободная туника стала её любимой одеждой. Там же она читала Гомера, Лукреция, Платона. И тогда же Исида открыла удивительную вещь. Они все – и Афродита, и Ника, и даже грозная Афина – танцуют! Исида стала повторять их позы, пытаясь продолжить начатое в них движение. В её пытливых глазах древние богини оживали, открывая ей, что танец охватывает всё тело – от макушки до пальцев ног. Но вместе с тем истинный танец прост, лаконичен и изыскан. Ничего лишнего, ничего неестественного.

Сторож с удивлением наблюдал за нею. Он уже не качал головой – он любовался танцем Исиды.

В один из дней, уже завоевав успех в светских кругах Парижа, счастливая Исида, едва закончившая очередное выступление, заметила странного старика, укутанного шарфом по самые щёки. Он чопорно поклонился танцовщице. «Кто это?» – спросила она у кого-то из своих поклонников. «Великий Сарду. Викторьен Сарду». Имя этого драматурга ничего не сказало юной дикарке. Сарду подошёл к ней, поклонился вторично и сильным голосом произнёс: «Мадемуазель, я восхищаюсь вами и одновременно жалею вас... ибо вы бросаете вызов богам... Опасайтесь их мести. В самых сладких плодах славы прячется коварный яд...» Видимо, Сарду знал, о чём говорил.

Сергей любил полуденный зной в берёзовой роще. Когда кажется, что воздух плывет в белом сверкании. Когда от пота прилипают ко лбу вихрастые пряди. Когда от пестроты разнотравья болят глаза. Над ухом кто-то жужжит, всё цветёт пышно и избыточно, страстно

и скоротечно... Броситься в траву на опушке, зарыть в её дух горячую голову, увидеть где-то близко, перед глазами, чудо: бабочку, разломившую крылышки на солнце. Улетать ей не хочется, кормиться тоже – и так тепло, сил много... «Эх, самое время косить. Травы в соку».

Нелёгкий это труд. Отстать от других нельзя – позор. Пить хочется. Оглянуться – скошенная дорожка до горизонта. Сзади – бабы с граблями. Ворошат, поют что-то – издали доносится. Плечи ноют томительно и туго. Всё! «Стой, ребята!» – слышится голос впереди идущего. Хочется упасть. Держишься, улыбаешься девчатам. Танюшка, кроха лет восьми, принесла ведро воды. Все пьют. Никто не торопится: по старшинству и достоинству. Разговаривать не хочется – слишком жарко и тяжело.

Странное, истомлённое удовольствие испытываешь после долгого дня покоса. Будто и сделал нечто важное, и ещё... ещё что-то понял об этих упавших под ноги травах, о берёзовой кромке невдалеке, о скоротечном летнем солнце, о всём том тихом, смиренном, что есть в природе нашей...

Вечером, когда прохлада ласкает усталое тело, собираются девчата с парнями петь частушки. Ох, и острые они бывают! Сочиняются иногда на ходу, иногда – переделываются старые, под насущный момент. Это и способ сказать тайное, желанное, и себя показать. А сколько шуток придумывали – безобидных и не очень. Поймаешь девку, под визг её и смех обнимешь жаркими руками, подол её длинный взметнёшь да над головой завяжешь. Что ей делать? Ох, потеха! Называлось это у них – пустить девку цветком.

Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на берёзке подол.

Нет, не хочется ему всю жизнь работать сельским учителем. А ведь их школа именно учителей и готовит. Так больно, так больно, когда рок влечёт тебя не по тому пути, который духу люб. Сделать ничего нельзя: весь в тисках. Никто его не понимает, кроме друга любимого, Гриши, единственного друга. Паршивая школа. Гриша – одна отрада. Ему он читает свои первые стихотворные опыты. Юному поэту кажется – они гениальны. Тогда почему их не захотели печатать в Рязани?! С Гришей он разговаривает, будто сам с собой: ни с кем другим бы так не смог. Он такой же тонкий, умный мальчишка. Они будто из одного куска теста сделаны. Роднее брата, вот как. А от других соучеников – одни унижения. Быдло неотёсанное – вот кому учителями быть, детей безвинных линейкой по пальцам лупить!

В школе будущие учителя и жили. Иногда Сергею было так тяжело, так смрадно в облупленных классах, среди ненавистного общества хамов, что хотелось бежать, куда угодно. Куда? Дома по головке за такое не погладят. Дома гордятся: он на «отлично» учится. Чтоб потом старость родительскую обеспечивать. «Али за сохой лучше?!»

Один раз он все ж сбежал в зимнюю вьюжную стынь. Через леса шёл. Тьма упала над снегами, только звёзды в небе, да свист ветра обжигающий. Плутала дорога, исчезли колеи на глазах. Думал: замёрзнет, не дойдёт. Лишь когда близкоблизко подошёл к Яру, понял: спасён. Дома ахнули, когда он ввалился, будто сугроб белый, дымящийся, в сени.

Меньше стала их семья. Осенью вот будет год, как его любимой бабушки на свете белом нет. Может, и Гриша ему Богом дан, потому что бабушка о том попросила... Часто вспоминал её. Убегал к ней, в Матово, даже тогда, когда мать с отцом после размолвки снова вместе стали жить, когда младшая сестра Катя родилась. Убегал, потому что заботу о себе чувствовал. Бабушка и накормит, и приголубит, и расспросит. А сама плачет иногда, плачет. Как будто без мук, просто так, от нежности слёзы тихо струятся.

Он страдал страшно, когда бабушки не стало. Совсем сиротой себя чувствовал. Не будь учёбы, не будь стихов его, вообще не знал, что с ним было бы. Да что было бы! Отбилась бы от дому. Некому его сдержать: отец ему не указ, мать – тоже. Где-то брат его растёт,

сын материн внебрачный. Отдала людям на воспитание. Как отец простил? Увидит он брата когда-нибудь? Бабушка... вот она с Богом в душе жила.

Милый, милый Гриша!.. Всем сердцем он прилепился к другу, ни в чем его не стеснялся, ни в одной мысли. Мечты ему рисовал. Знал, чувствовал безошибочной своей светлой душой: он не предаст. Всё рассказал ему про Анну, учительницу, про своё яркое чувство к ней. Что оно не пройдёт, не изгладится. И про Лидию тоже. И про любимую ушедшую бабушку. Гриша слушал тихо, внимательно, весь – будто невидимый глазу заброшенный пруд в лесах. Он, Сергей, сидит на берегу такого пруда и всю душу ему изливает. Прозрачна и темна неподвижная вода – ласков взгляд друга...

Иногда Сергей склонял голову, осенённую золотом кудрей, другу на плечо. Сидел так долго, не шевелясь. Исчезала куда-то душевная мука. Казалось, дышит с ним вместе. Мысли его, как чистые слёзы, текут, другу передаются...

Когда расстались, письма друг другу писали. Так же отречённо, будто голову свою отдавая в залог...

Если б он знал, что будет так страшно, ни за что не стал бы пить отраву. Сначала перехватило дыхание в горле, а потом пена изо рта. Скорей, скорей... Опрокинув лавку, бросился к молоку – пил жадно, много, до самого дна бидона. Лето за окном сияло надсадно и жарко. После молока стало легче. Живот болел долго, дня три. Никому ничего не сказал. Отлёживался в амбаре – бледный, слабый, но уже желающий снова жить, уже без острого приступа тоски. После эссенции, едва понял, что самое страшное позади, будто очнулся в иной реальности: садящееся солнце уж не скоблило душу, а обещало завтрашний день. Будто принёс своей тоске жертву, и она её приняла.

Ах, как тоска его скрутила. Как-то навалилось сразу много всего... Его стихи не взяли в редакции газеты в Рязани. Был тот дом каменный в самом центре. Вышел оттуда измученный, шатающийся, ничего не видящий перед собой, словно провалил самый главный экзамен своей жизни. Что ему теперь делать?! Рязанский кремль узорчатостью церквей, высью колокольной за мостом сиял справа. Остальной город был нищ и сер. Слёзы застряли в горле – едва крепился. Дома, у Оки, дал себе волю. Молился реке, чтоб унесла своими водами его слёзы, его муку. А ещё – Анна. Писал ей много, пылко и влюблённо. О своей тоске, что гложет изо дня в день. Что иногда так больно, что не может сдержать себя: хочется кричать, биться в кровь о стену, нырнуть и навсегда там остаться, уснуть – не просыпаться... Что ж ему сделать, что, чтоб встать вровень с этой его болью души?! Стихи помогали немного, но кому они нужны. Дома их считают пустым делом, в редакции не взяли. Некому о боли рассказать, нет плеча, к которому голову склонить... «Казаться улыбочным и простым – высшее в мире искусство». Он учился притворяться, скрывать гримасу за улыбкой, спазмы – за песней, крик – за похабной частушкой... Анна не отвечала. Или – вскользь, смутно и слишком просто. Наслаждалась его влюблённостью, но не давала и грана надежды. Он писал письма её подруге, Мане. В тайной надежде, что дойдут его мольбы. Вовсе безразлично ей? Нет у него таланта к стихам. Он бы всё за этот талант отдал, всё. Всю любовь в сердце, всё, что есть у него, всю жизнь... Душу дьяволу б отдал! – так и написал. Даже если б только лет десять ему ещё жизни... Дошло до того, что боль причиняло всё: голос матери, кудахтанье кур, багрец тревожного заката, тишина и скука... Хуже всего – скука. Сука-скука. Потому и выпил отраву. А теперь – жить, жить, жить!

Решено было: Сергей поедет к отцу в Москву – работать с ним вместе в мясной лавке, на подхвате у приказчиков. Ну, не хочет быть учителем, ладно. Отец, вон, почитай, всю жизнь в одном месте прослужил. Поди, плохо?

Что за ужасное место!.. Мясо Сергей употреблять в пищу отказался, не хотел носить кожаные вещи – скинуть, скинуть их побыстрее. Потому что немыслимо жаль всегда было скотину. Отбирают у коровы её милого телёнка, забивают, шкуру обдирают. Разве ей не больно? Он видел не раз: больно. Щенят у суки топят, она всё понимает, по глазам видно, знает наперёд – ей тоже больно. Долго потом тоскует, слабо, но всё ж виляет любимому хозяину хвостом. Прощает, наверное.

Это такая глупость и унижение – смотреть, как отец заискивает перед хозяином с хозяйкою. Она, конечно, капризна, как все красивые и избалованные женщины. Гадость, в общем. Будь они и хороши, всё равно – хозяйева. А он сам по себе. Нет, даже не так. Он – для стихов. Они – в нём. То как фонтан, то как ручей, то как Ока. Он чувствует их. Он – дудка. Дудка в Божьих пальцах. А кто они, эти люди? Он и рядом с ними не стоит. А они думают, что могут распоряжаться им, как им вздумается! Они далеки, ему не ровня. Если о них через сто лет и вспомнят, так это потому, что он в их лавчонке мясной вынужден был суетиться...

Жили они с отцом в двухэтажном бревенчатом доме, в Строченовском переулке. Дверцы высокие, но зазор между первыми и вторыми – малый. Однажды он буквально ввалился в дом, споткнувшись на пороге. Смеялся. Служба в мясной лавке осточертела. Быстро понял: такая судьба – не его. Сказал отцу. Тот очень рассердился: непутёвый сын! А все в деревне ему завидовали – умный. Добро б было от его ума! В лавке, правда, доход вырос, хозяйева говорили. Полюбили покупательницы юного обаятельного мальчишку. А теперь, поди ж – всё бросает! Сказал: «Уйдёшь – я тебе не отец. Живи своим умом. Помощи не жди». На том и расстались.

Он нашёл работу в типографии Сытина. Массивное здание в пять высоких этажей громоздилось в самом конце Пятницкой улицы, почти на краю Москвы. Отсюда было рукой подать до Строченовского переуллка, где жил отец. Вот только Сергей решил уйти, окончательно решил.

Рано утром со всей округи к типографии спешили работники – ручьи людей. Сергей первое время терялся в такой толпе, а потом привык. Входные двери были необозримо высокие, а если задрать голову, то можно было увидеть, что здание типографии упирается в небо. Взяли его сначала грузчиком, а потом корректором. Тогда же, полный великой радостью, писал он другу о первых своих публикациях – в детском журнале. Гриша был смертельно болен. Не скрывал этого от друга, знал, что умирает, и звал его. Сергей писал, что не может вырваться... Переживал, конечно. Вспоминал каждый час, каждую минуту, проведённую вместе, все их вылазки, прогулки вокруг школы, старую сосну, вокруг которой играли в салки, всю их юную весну... А поехать не мог. Увидеть его – сил нет. Даже смотреть, просто смотреть, как он сможет? Сергей молился. Если Бог есть, он не допустит этой смерти. Молился перед старой иконой Богородицы, которую дала ему мать перед отъездом, молился бревенчатым стенам, чужим мокрым гранкам – всему молился... А ещё это заразно. Сколько времени они были близко, очень близко. Дышали рядом друг с дружкой. А вдруг он уже носит в себе тот же дух смерти? Ужас до озноба прорывал его. Не думать, лучше не думать. Он писал Грише, чтоб тот не волновался, берёт себя, старательно лечился и не брал с него пример – кушал даже мясо, потому что оно укрепляет, а вот вырваться к нему он ну никак не может...

Гриша умер.

Теперь его, Сергея, душа – пополам. Теперь он никогда не сможет быть таким, как прежде. Не сможет так же смотреть на цветы и луга, на небо и реку. Он ведь всё это отдал Грише. Рассказал ему, как луна купается в Оке, как лунную воду пьют кобылы в ночном, как разговаривают на рассвете цветы, как в детстве думал: вот идёт странник, а вдруг он – Спас?! Пройдёт – и не узнаешь... Ещё как одинокий, в истомной полудреме последнего чуткого

сна, мечтал, что Богородица – прекраснейшая из дев – однажды сойдёт к нему с иконы. Сойдёт живая, тёплая и ласковая... Грише показал самое нежное в себе, самое дорогое, синее, трепетное, и тот лукавый авантюризм, что толкал его в безумные мечты, и то чёрное, что мучило, – то, что боролось с синим...

Гриши нет.

Теперь он никому не откроет своего больного, чуткого, страшного и ненавистного ему самому сердца.

Бога нет.

Там же, в типографии, познакомился он с Анютой. Увы, лишь именем она была похожа на его безответную юную любовь, на «девушку в белой накидке». Очень быстро отношения стали близкими. Всё делали вместе, даже слушали лекции в университете Шанявского. Анна к нему привязалась. Рассматривая его кукольно-красивое лицо, нанизывая белый вихор на палец и смеясь, звала «вербочным херувимом». Она быстро поняла: парень непрост. Когда ж Сергей прочёл ей свои стихи, поникла влюблённой головой: не с нею рядом ему быть. Грусть закралась в сердце, да так и осталась там жить навсегда, до конца ещё долгих-долгих её дней...

Подписал вместе с другими письмо рабочих Замоскворецкого района Москвы в поддержку фракции большевиков в Государственной думе. Пару раз принял участие в стачке. Это просто: выйти на работу в восемь, а уйти в восемь десять. Листовки прятать – тоже забава. Ему страстно хотелось быть активным действующим лицом на арене взрослой жизни, но пока он к ней лишь примерялся... Впервые в жизни узнал, что такое слежка, так как в Департаменте полиции им заинтересовались. Ему доставляло детское удовольствие дурачить «хвостов». Разве мог он подумать, что через много лет это станет для него не игрой, а схваткой не на жизнь, а на смерть...

Несколько раз было действительно страшно. Потому что арестовали восемь человек из наборного цеха. За прошлые дела, те, в которых Сергей ещё не участвовал. Было собрание студентов из университета Шанявского, двадцать шесть человек повязали разом. Сергей чудом скрылся вместе с товарищем, таким же студентом, Пылаевым. Чёрными ходами и крышами уходили. На пару снимали углы в разных местах Москвы: то на Тверской-Ямской, то в Сокольниках, то в переулках Пречистенки. Пылаев говорил, что так надо... А потом взяли и его. Сергей перебрался к Анюте, в съёмную квартирку на Серпуховской заставе. Ушёл из типографии. Запоем писал стихи, изучал Блока. Анюта подарила ему неприметную книжечку в нежно-зелёной обложке: Н. Клюев «Сосен перезвон», книгоиздательство Некрасова. Разве могла она знать, что очень скоро этот поэт войдёт в жизнь её милого?

Она ни о чём его не спрашивала, ни о чём не просила. Просто радовалась, что стал с ней жить. Хотя сердцем и знала: для херувимов небо – дом... Улетит.

...Блаженной родины лишён,
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
В лесной блуждающей пустыне...

У них с Анной родился сын. Сергей с любопытством рассматривал его, баюкал, песни пел... Думал: теперь он будет жить обычной жизнью, как у всех. Потому что Гриши нет. Ох, как ему его не хватало. Он за него будет жить: детей растить, жену любить... Но разве удержать ангела в клетке? Крылья мешают.

Месяца через два решил Сергей ехать в Питер. Счастья-удачи пытаться. Как поэт. К тому же и след за собой оборвёт. Не достать его филёрам из Департамента полиции. А там видно

будет. Сначала – к критику Клейнборту, отнесёт ему пакет от Суриковского кружка, смотришь, тот и с адресом Блока поможет. Сказал Анне: «Скоро вернусь. Жди». Но она знала. Улыбнулась скромно и слова поперёк не произнесла. Он велел ей почаще сыну песни петь, она кивнула. Вещи ему собрала, денег дала на дорогу. Ещё и отец помог. Не плакала, хотя знала: всё. Он ещё не знал, а она...

Ох, и страшно же ему было идти к лучшему поэту в России! Но слово себе дал: сразу – к Блоку. Мережковский не в счёт! Скажет Блоку: вот я, а вот мои стихи. Как решите, так и будет. Стоят они чего-нибудь? Дрожь в ногах была страшная.

Может, зря судьбу свою мыкает? Может, стихи его – пыль подножная на Руси: осыплются и станут прахом, а дождик прибьёт?

Блока дома не оказалось. Написал записку, оставил прислуге. Лёгким шагом сбежал по ступенькам вниз: вроде и слово себе сдержал, и колени уже почти не дрожат. Ну, разумеется, он вернётся. Сегодня же, в четыре. Вышел, оглядел огромный дом на Офицерской улице. Было ещё холодно, но весна уже светила искрами сосулеск и праздничных окон. Река Пряжка угадывалась в снегах. Вдоль росли высоченные, спящие пока тополя.

Блок встретил его так просто, что Сергей почувствовал сразу: этот человек – над миром. Говорили о деревне, о Питере, о современной жизни. Аристократизм Блока ощущался во всём: в жестах, манере выражаться, смотреть, в простом, аккуратном домашнем костюме, в скромном, но просторном кабинете. Сергей вытирал пот со лба. Очень волновался. Страшно сказать: впервые в жизни видел живого поэта! Настоящего Поэта. Ну, провёл лишний раз платком по лицу – не страшно. Может, даже лестно хозяину дома... Блок, видя его смущение, как мог, старался ободрить.

Солнце наполняло собой воздух кабинета. Сергей скользил глазами по зелёному сукну стола, по высокому полёту облаков за окном, по смешной чернильнице в виде маленькой вислоухой белой собачки, по изнеженным рукам Блока, по разбросанным бумажкам с какими-то отдельными, рванными строчками...

Вдруг взгляд его остановился на женском портрете, крупной фотографии, висящей на стене, прямо в центре кабинета. Росчерк автографа. Странные буквы. Иностранные. То вытянутые вверх, то вдоль строчки. Блок, не оборачиваясь, понял, куда смотрит его гость. Улыбнулся.

На фото была молодая женщина с чарующей затаённой улыбкой, склонившая, как лебедь, голову на чудесной, длинной, скульптурной шее, с покатыми обнажёнными плечами, сидящая в вогнутом «римском» кресле. Взгляд – прямо в душу его, Сергея... Длинное белое платье, простое, как она сама, струится на пол...

– Это великая танцовщица, – сказал Блок. – Исида.

Сергей не вымолвил ни слова. Снова и снова возвращался к фотографии глазами...

Стихи неведомого, из глубин Руси, пришельца Блоку жутко понравились. Об этом он честно сказал просветлевшему до дна синих глаз Сергею. Он читал их Блоку и... женскому портрету на стене.

Блок дал ему рекомендательные письма к издателю и коллегам по перу. Ах, как сбежал вниз от него Сергей! Будто крылья несли. И ещё: стал он другим, совсем другим, чем был час назад. Потому что видел: Блок уступил ему место рядом с собой. Свято улыбался ему, юному, новому, большими, чувственными губами. Свято и чисто, как ребёнок. Жал ему руку.

Он его не искал. И встреч с ним – тоже. Николай Клюев сам написал ему. Потом – ещё и ещё. Всё было в этих письмах – и созвучье сладкоречивое его же, Клюева, стихам, и восхищение талантом Сергея, и желание поскорее увидеть его, так тронувшего спящее сердце, обнять скорее, скорее... Сергей не ответил. Да, он читал стихи Клюева, очень нра-

вились. Самый известный, после Блока, самобытный, сверкающий, как уральский изумруд, крестьянский поэт. И слова в его стихах – камни самоцветные. Но смущал тон писем, очень уж нежный. И что любит его за душу светлую – заочно. Просит о встрече, просит-умоляет, смертельно ждёт...

Он уехал к себе домой, в село. К Анне не вернулся. Писал в родном амбаре странные стихи: о каменных дебрях большого города. И будто слышал голос Бога: «Забудь, что видел, и беги!» Но в силах ли его это было? Уже нет. Настало время исполниться мечте.

Потом он всё-таки встретился в Питере с Николаем Клюевым. Когда тот увидел Сергея, прямо-таки впился глазами, ахнул от красоты его и обнял. Целовал троекратно. Щеко-тали моржовые усы. Пахло от него ладаном, воском, яблоками и ещё чем-то неуловимо при-торным. Сколько же сладких речей, сколько самых восторженных, милых слов он наговорил он Сергею! Что Сергей, сокол ясный, попрёт весь этот вылощенный салонный сброд, перед которым им приходится выступать, мощью народного, чистого слога! Что они вместе – и теперь навсегда. Они – поэты русского народа. А эти все Мережковские с Гиппиусами – ананасы в шампанском. Не отходил ни на шаг от своего подопечного. Прилип, как лист в бане. Часто купал свои пальцы в белых кудрях Сергея... Хвалил, гладил, целовал. Гладил, целовал, хвалил. Хвалил изысканно, гладил нежно, целовал страстно.

Непритворно, искренне не понимал: как такой юный отрок, почти Варфоломей с кар-тины Нестерова, мог вот так, запросто, с Богом? О Божеском? Как вот так, одной строчкой, из нашего мира – в иной?! Он бился над этим годами. Как же так... Что он может сделать для этого нежного отрока? Да он всё, всё отдаст ему, прекраснейшему.

Выступали они обычно в псевдонародных, слишком вычурных, распрекрасных костю-мах: высокие сапоги, расшитая косоворотка, синяя поддёрка. Всё кричащее. Такое нравится – уверял Николай. Сергея бесило до печёнок, что публика эта салонная слушала его стихи вполуха, жиденько хлопала – так, для вида. Зато бурно принимала похабные рязанские частушки, коих знал он великое множество.

Да, он знал, что вынужден подавать себя таким. Народный поэт, от сохи. Если бы эти «ананасы в шампанском» ведали, сколько книг он прочёл, – ни за что б так не изумлялись стихам его. Маска – противно, ну что ж, иначе он ничего не добьётся...

Один случай так и вовсе вывел его из себя. После этого случая Николай понял наконец, что не сможет удерживать возле себя молодого друга вечно, потому что никогда тот не будет головы клонить ни перед кем. Дело было в аристократическом салоне, близком к придвор-ным кругам, в доме графини Клейнмихель. Там ели и разговаривали, нимало не считаясь с тем, что он, Сергей, читая, душу свою в стихах выворачивал. Будто в цирке смотрели на него, как на ряженого. Упыри поганые! Ох, и выдал он ласковых слов тихому Николаю за то, что привел туда! А когда они уходили, вышколенный швейцар принёс им на серебряном блюде двадцать пять рублей. Сергей побагровел. Сказал: «Поблагодарите графиню, а деньги возьмите себе на табак!»

Клюев, Клюев... Сергея он хотел завоевать испытанным способом: стать всем для него. Нечто женское было в его умении намертво вцепиться. Внешне он казался правильным и праведным, едва ли не святым: и молился, и постился, но нутром – гниль и вранье. Сергей не понимал, как такое может сочетаться в человеке?! Сдобный, сладко-паточный, елейно-скользкий, впился Николай в него железной хваткой. Одно время, недолго, жили они вместе, в одной комнате. Ах, как Николай плакал, когда Сергей на свидание с женщиной уходил! Садился посреди комнаты на пол и ревел в рёв. Всё это было и смешно, и противно... Но что за диво! Завороженно Сергей слушал, когда читал тот свои изощрённые, думные стихи. Чудесные, тёплые, истинные. Будто волшебными ключами открывающие душу. Учился, у Клюева, вбирал в себя тайну Слова.

Как страшно и нелепо – война. Безропотны уходящие на неё мужики. Так надо. Без жалоб, без слёз. Только бабы воют. Его, Сергея, тоже призовут этой осенью... Обычно смиренный Николай замотал головой: его сокола да под пули?! Ни за что!

Ходили в Царское Село. Николай не сказал к кому. К знакомому, и всё. Как барашка повёл. Пригладил его вихры. Сказал: «Хорош!»

Долго ждали.

Тарахтящая машина с огромными колёсами резко остановилась, взметнув облачка пыли. Важно вылез из неё рослый мужик, одетый бедно, но чисто. В нём сразу чувствовался крестьянин. В походке, в жестах. Свой, значит. Но почему он здесь?! Клюев к нему ступил. Обнялись. Целовались троекратно, по-русски. Николай что-то сказал ему тихо, Сергей не слышал. Мужик метнул в его сторону пронзительный взгляд. Что за глаз был у него – как бурав: будто светлый, а внутри – игла. Сергея передёрнуло до дрожи внутренней, и волосы на голове шевельнулись. Всего мгновение смотрел мужик на него – словно в голову влез и там всё увидел... Что-то ещё тихо сказал. Клюев кивнул и поклонился.

Григорий Распутин в записке к полковнику Ломану, штаб-офицеру для особых поручений при дворцовом коменданте, писал:

«Милой, дорогой, присылаю к тебе двух парёшков. Будь отцом родным, обогрей. Ребята славные, особенно этот белобрысый. Ей-богу, он далеко пойдёт».

Клюев написал «моление» в Царское Село, к тому же Ломану. Всё по словам Григория сделал. Что гениальное русское слово, коим облачён его юный друг, не должно бесследно сгнуться на Руси. Получил приветливый отклик. Сергей был оформлен санитаром в поезд имени Императрицы Александры Феодоровны, вывозивший раненых с передовой. Поезд этот, совершенно особенный, имел местом своего постоянного пребывания Царское Село, а покровительницей – саму Императрицу Всероссийскую.

Сергей, наголо остриженный, в серой шинели, казался самому себе совершеннейшим подростком.

Клюев плакал, когда с ним расставался. Им обоим было больно. Сергей надписал ему своё фото – там, где он златокудрый, с надеждой в юных глазах, в высокой овчинной шапке.

Часто по возвращении с линии фронта Сергей видел великих княжон, работавших в лазарете наравне с другими нянечками, выхаживающих раненых, утешающих юных калек... Были они просты и искренни, не смущались никаким трудом, ни ранами, ни кровью солдатской. Одеты в длинные платья и фартуки с нашитыми под сердцем красными крестами, на голове – белые платки сестёр милосердия, они ничем внешне не отличались от других санитарок поезда. Даже руки у них простые, как у фабричных девчонок, разве что без царапин. И однако, глядя на них, думалось, что каждый их шаг сопровождается безмолвная внутренняя молитва.

Много тяжёлого увидел он, помогая в операционных, каждодневно наблюдая нестерпимые муки искалеченных войной русских мужиков и мальчиков.

Однажды полковник, их покровитель, близкий ко двору, отправил его вместе с Ключевым в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель, к великой княгине Елизавете Федоровне, чтобы та послушала их.

Встретила гостей одна, если не считать послушницы, молча прислуживающей за столом. Тихая, словно неяркий вечерний свет, слушала молча, внимательно. Худоба чётче обозначала тёмные круги вокруг глаз. Пригласила их за стол. Клюев будто бы стушевался – отошёл к камину, сел на корточки. Где уж нам, голытьбе сермяжной, за белые царские скатерти. Там и ел калачи. Сергей же за стол сел спокойно, не глядя на Николая. Послушница глаза

вытаращила, увидев гостя на корточках. А великая княгиня усмехнулась, тихо кивнула: мол, пусть сидит, если нравится...

Спросила Ключева: жива ли его мать, нравятся ли ей его песни? Ключев комок в горле проглотил. Играть в «народность» расхотелось. И сидеть на корточках – тоже. Что уж теперь, раз сел. Стыдно, конечно. Почему-то подумал, что никто в проклятом городе, никто из писательской братии ни разу не спросил его о матери...

Стол был накрыт хоть и изысканно, но немудряще. Варенье в неприменных хрустальных вазочках, белые калачи.

Оба певца избяной Руси чувствовали: понравились. И очень. Читали много и увлечённо.

На прощанье великая княгиня подарила Сергею Евангелие с овальной печаткой на обложке, с её именем, серебряный образок иконы Покрова Пресвятой Богородицы и святых Марфы и Марии.

Когда вышли, Ключев сказал:

– Серёженька, проняла меня её доброта до печёнок. Только знай: слишком близко к ним... – Посмотрел на небо и поднял палец вверх. – Слишком близко стоять нельзя. – Усмехнулся на недоумённый взгляд. – Ни одно издательство либеральное, а они у нас все такие, печатать тебя не будет...

Двадцать второго июня, в день Святой Магдалины, готовились к празднованию именин вдовствующей императрицы Марии Феодоровны и юной княжны Марии.

Сергея попросили написать стих. Сначала он отказывался: «Я больше про коров... да про солому...» Но потом всё же согласился: назвался груздем – полезай в кузов.

Он написал... Пророческие слова. Но кто же знал тогда, что сбудется эта его вдруг явленная боль, угаданная на чистых лбах юных царевен?

Так всегда было с ним, когда он начинал писать: будто некое бездумье вначале, пустота, вмещающая то, что он ещё не ведал... И из этой пустоты вдруг ясное понимание – что и как надо сказать... Божья дудка. Про княжон не хотел писать, было большое внутреннее сопротивление... Как прозрачны и невинны слёзы белых берёзок под дождём... Разве они виноваты, что дождь? Потушит он белые свечи?

Очень внимательно смотрела на него самая младшая из княжон, Анастасия. Он такой взгляд с лёту понимал. Чай, в деревне вырос. «Вот ведь совсем девчонка! – думал. – Сколько ей лет-то?»

Она его потом в сад водила. Разговаривали. Просила подождать. Прибежала с большим платком, украшенным гербом и её инициалами. Смущаясь, подарила. Сказала, в баню ходить. Сергей смеялся. Ну как такую вещь в казарме хранить?! Завернул в посылку, отправил домой, наказал беречь.

В день именин вдовствующая императрица Мария Феодоровна подарила ему икону Сергия Радонежского как благодарность за его Слово и как надежду, что оно будет с Россией и с Богом.

Вообще, отношение к нему было особое, поблажек ему делалось много. Например, отпускали частенько домой. К Ключеву тоже бегал. Мать с тревогой качала головой: «Уж больно высоко взлетел! С высоты-то разбиться легче...»

Год прошёл в войне и чужой боли. Писал он очень мало. Сергей грустил без Ключева, своего учителя. Думал: «Вернуть ли былое?»

В день именин Сергея великая княгиня Елизавета Феодоровна, не забывающая его, передала подарки: серебряную икону с изображением преподобного отца Сергия, крест серебряный и крошечное Евангелие.

Ключев Сергея ругал. Мол, от него и так уже весь бомонд писательский отвернулся, поносят его как клятвоотступника на каждом перекрёстке. Ну как можно было разносить

прокламации тайком, в либеральном кружке состоять, а теперь царям в ноги кланяться?! Нет, ну ясно. Он тут, в Царском Селе. Но похитрее надо. Чтоб достоинства не ронять. Сергей мотал головой. Ничего он не роняет! Вспомнил про платок Анастасии, о котором другу ничего не сказал. Клюев взглянул на него: али что задумал?! Задумал, так и есть! «Ох, Серёженька! Не сносить тебе головы!»

Полковник однажды передал ему просьбу: написать об императоре, «так свято и по-русски, как они умеют». Сергей – к Ключеву. Тот аж холодным потом покрылся. Долго думал, хмуря чело. Писал ответ старательно, слюнявя и грызя карандаш. Что-то черкал. «Ну, загадку задал кощееву». Придумал ответить словами древней рукописи, что не может мужик сидеть близ святителей. Что таково ещё с древности отношение к художникам. «Нельзя изображать то, о чём не имеешь никакого представления. Говорить же о чём-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, окромя лжи и безобразия, не выйдет».

Аж выдохнул, когда дописал. Говорил: «Учись, Серёженька, помни всегда: стих твой и слово любое должны быть подобно древнему заговору, чтоб ни оторваться от них человек не мог, ни забыть, ни супротив молвить... Голубь мой ясный, голубь синий. Дух свят в тебе. А мой знак – лев. Соединены мы с тобой – в львино-голубиности, понимаешь? Навсегда».

Однажды случилось нечто странное, будто развенчали его своей милостью: отправили в Могилев, на охрану царской ставки. Уж после он узнал, что было снова письмо Ключева полковнику...

Уехал, а в дороге услышал от людей: царь отрёкся от престола! Революция! До Могилёва не добрался. Решил на время укрыться в родном селе. В Питере с его погонами могут и в Невке утопить, под горячую-то радостную руку... А в селе его кто искать будет? Так и сделал. Через какое-то время вернулся в Питер, как ни в чём не бывало. Всё обошлось.

Нельзя войти в одну реку дважды. Увы. Скучать он стал с Ключевым. Устал от него. Вокруг стремительно менялась жизнь. И какими-то наивными, натужными и ненужными стали стихи-небыли его учителя. Да и сам смиренный Николай вызывал у него теперь приторное отвращение, сдобренное стыдом. Не ангел он, хоть и остался весь там, в прежней жизни, полной легендами о граде Китеже, убогими странниками и тишь Олонецких озер... Не видел Сергей уже себя рядом с ним! Сбросить, сбросить старую кожу! Уходил от него трудно. Клюев плакал. Кудахтал: «Куда ж путь свой направишь? Развратят тебя нехристи окаянные...» Сергей кидал ему в лицо: «А сам-то ты кто?» – «Так они ж без любви, голубь мой...»

Не верил он в любовь Ключева. Позёрство всё. Он правой рукой крестится, а левой – грех творит. Клюев же знал доподлинно, что все ключи от Слова отдал юному другу, всю душу свою отдал, сложил к ногам его. Не будет он сам больше стихов писать, потому что ничто они рядом с ангельским сверканием Серёженьки. Он, как и Сергей, видел, что раскололась их любимая Россия на два стана, на два лагеря. Меч прошёл через сердца людей. Посерёдке. Не убил любовь, а лишь всю изнанку вывернул... Предлагал схорониться Сергею в лесах бескрайних, в избушке затвориться от всей этой чёрной мерзости, что Русь накрыла... Но тот лишь в лицо рассмеялся: забудь, что видел, и беги? Ни за что! Поник Клюев духом. Что ему теперь остаётся в этой жизни? И правда затаиться в лесах своих родных, и ждать... ждать... ждать... вдруг вернётся Серёженька? Умереть? Он чувствовал себя больным, ослабевшим и истомлённым. Если его и пощадит Бог, то только ради его голубя, его красного солнышка, которому отдал он неподъёмной богатырской тяжести, многопудовые ключи от Слова. Больше некому было их осилить на Руси крещёной. «Слово о полку Игореве» – это уже переложённое на наш язык Слово. Иной смысл кроется в древних текстах, хранимых во глубине лесов русских, в тиши монастырей. Кладёзь мудрости открывает истину: русский язык – основа и предтеча других языков, остов их, фундамент. В хранимом Слове – истин-

ный смысл мироздания и жизни человеческой на земле-матушке. Всё это зашифровано слогами и словами. Тот, кто знает Слово, знает и дорожку к умам и сердцам, потому что память предков живёт в каждом. Был он в секте хлыстов, там его просветили. Бежал от них, потому что жертвы от него требовали непосильной. Теперь сердце его рвётся на куски: не люб он Серёженьке, светочу единственному. Будет он теперь дни считать – до кончины. Вдруг ему ещё пригодится он чем, понадобится? Есть ли что в мире слаще для него, чем быть рабом его, рабом Прекраснейшего? Единственное чистое, что у него было... А Серёжа, Серёжа когда-нибудь поймёт, что любовь его истинна, что будет ждать он его во все остатние дни...

Красива, круглолица, чернява и скромна. Сергей увидел её в редакции одного из журналов, в которую носил печатать свои стихи. Увидел, затеял разговор. Девушка откликнулась без игривости и особого энтузиазма. Ого! Хороша. Серьёзная. Обычно на его белые кудри западают сразу. Чувство такое, что не подозревает, что красива. Проста. Еврейка? Возможно. Хотя скорее фамилия немецкая. Умна... В меру. Но её подруга, Мина, лучше...

Зачастил. Приходил каждый день в холодную редакцию, снимал с полки исторический труд о раскольниках, устраивался в кресле, скидывал небрежным, лёгким жестом шляпу, поднимал воротник лёгкого пальтишки – нахохливался – и углублялся в чтение. Иногда приходил вместе с приятелем, Алексеем, тоже поэтом. Подхватив Зинаиду и Мину, отправлялись гулять по Питеру. Алексей – под руку с Зинаидой, Сергей – с Миной. Ходили по набережным, встречали рассветы. Вчетвером. Как-то так получилось, что уже через месяц этих прогулок Зинаида, серьёзная и скромная, стала негласно считаться невестой Алексея. Сергей бесился, но вида не подавал. Нет, не ревновал. Именно бесился. Она что, слепая? Или дура?! Неужели не видит, совсем не видит его, Сергея?

Гуляя, часто спорили с Алексеем о стихах. В запале останавливались. Говорили долго. Алексей грозно опирался о трость, Сергей глубоко засовывал руки в карманы и поднимал плечи. Девушки ждали. И снова ждали. Один раз не выдержали – ушли вперед. Так как ребят долго не было, вернулись. Они стояли на том же месте и так же ожесточенно пикировались словами. В самом деле, это так важно: правильно ли выражение «небо озвездилось»? Сергей смеялся: а хоть бы и правильно! Главное – некрасиво! «Сергунька! – увещевал Алёшка Ганин. – Ну, послушай, Сергунька!»

Под утро, замёрзшие, находили какую-нибудь милую, уютную чайную. Перед ними ставили два больших, пузатых белых чайника. Девчонки смеялись. Чему? Да просто так, молодости. Пили радостно, чувствуя, как блаженное тепло разливается по телу к рукам и ногам.

Алёша написал Зинаиде стихотворение «Русалка». В нём чудесно обыгрывались длинные косы, такие, как носила тогда она, – обвитые вокруг головы, как корона.

Сергей присвистнул, когда прочёл. Молодец! С ходу написал три четверостишия и посвятил Мине – её растрёпанным ветром, как веточки берёз, коротким волосам... Но стих не отдал, забрал. Потом вернул через пару дней – кое-где исправленный и доработанный.

Сергей затеял поездку в Вологду да по всей Карелии. Когда-то, год назад, он уже ездил туда с Алексеем по издательским делам. Места уж больно красивые! Холмистые перелески, начало еловой тайги, речки быстрые, игристые и пьяняще-чистый воздух. Сергей пригласил ехать с ними одну только Мину. Та обрадовалась, но и расстроилась – всё одновременно. Она была эсеркой – ну как она уедет, когда столько событий вокруг творится?! Неужели не видят, что история на дыбы встала? И они – на гребне её. Сейчас надо наизнанку вывернуться, а поводья в свои руки ухватить! Но не по красотам северным разъезжать... Мина рассказала вскользь о предложении Сергея Зинаиде. Как та загорелась! Вмиг собралась, с работы отпросилась, заявив ребятам, что едет с ними непременно!

Неправда, Сергей видел, что происходит вокруг... Всей радостью неуёмной стремился к чему-то светлому, необыкновенному, что грезилось ему в вихрях перемен... Новое Пришествие. Новая Судьба. Его Судьба. Он чувствовал огромный душевный подъём. Чудо чудесное, гость несказанный, неожиданный – рядом, за поворотом, за ближайшей ёлкой. Встанет на рассвете рано и пойдёт его встречать. Потому и ехал на Север. Устоять его в себе, не расплескать. Охладить студёной водой речушек и озёр буйную голову, подумать...

Здесь кажется, что край земли – вот он, рядом. Такой простор холодного Белого моря, ледяное, арктическое дыхание ветра – даже летом. Плыли на теплоходике к Соловкам. Святое для каждого русского человека место. Говорят, не всех Господь пускает сюда. Почему? Они вот едут бездумно, юные и беспечные. Глупости люди болтают. Маленькие острова появляются неожиданно, вместе с криком чаек. Сверкают в лоне моря, как бриллианты, брошенные чьей-то гигантской рукой. Но что это? Крест на самом краю безлюдной полосы земли. От ощущения вселенского простора что-то ширится и ширится в груди. Недаром русские святые выбрали это место для уединения – суровое и прекрасное. Будто с неба спускается Соловецкий монастырь. Потому что между облаками и морем – парит в воздухе неведомой громадой на самом краю чудо-острова, обращённого к подплывающим кораблям.

Алексей вышел из салона покурить. Сергей, наклонившись к Зинаиде, сказал громким шепотом:

– Выходите за меня замуж!

Посмотрела на него глубоко и пристально. Молчала. Он вскинул красивые брови. Она опустила карие глаза.

– Дайте мне подумать.

– А что тут думать?! – вскипел он. – И сколько? Даю минуту, пока Алёшка не вернулся. Алёшка, её жених.

Вспыхнула и вдруг сказала:

– Да. – Помолчала секунду, вздохнув всей красотой груди. – Если обвенчаемся.

Венчаться? Какая ерунда! Неужели она не понимает, что уже через год это ничего, ровно ничего не будет значить?! Неужели не видит, как стремительно всё рушится вокруг? Неужели думает, что здесь, на краю земли Русской, всё останется по-прежнему? Обратятся в прах многовековые, сложенные из огромных валунов стены. Да разве в них дело?

Всё, что казалось истинным и незыблемым, вся крепость православного духа и голубиная кротость Руси. Буря несётся на них. Неужели не завертит, не захватит? Рок сильнее человека.

Он кивнул ей. Пусть будет так.

Вернулся Алексей. В одну секунду почуял нечто странное, будто висящее в воздухе между этими двумя...

Сергей сказал ему, что они обвенчаются. Алексей сел. Пол ушёл из-под ног, будто теплоходик качнуло, а в ушах барабанным набатом – эти слова. Как же так. Смотрел на Зинаиду. А он?! Что ж, что ж...

– Будешь моим свидетелем? – спросила она. Алексей нервно сглотнул и мотнул головой в знак согласия.

Выскочил на палубу, глаза слезились от ветра. В искрящихся на ресницах лучах плыл навстречу Соловецкий монастырь, нерушимой высью русского духа. И всё рядом с ним казалось уже неважным. Тем, что дал Бог. Кричали чайки...

Когда Зинаида росла, родители всегда говорили ей, что не больно-то она и красива, чтоб дочь не загордилась. Она и не гордилась... Зато, когда подросла и осознала свою красоту, простота и естественность, будто невзначай скромно потупленные глаза придавали ей особую привлекательность. Она это знала и пользовалась направо и налево.

Сергей ещё в поезде сказал ей, глядя прямо в глаза холодной фарфоровой голубизной:

– Я красивше тебя видел.

Помолчал, видимо, вспоминая.

– Она была монашкой. Никогда прекраснее лица не встречал...

Вскарабкались на Секирную гору по длиннейшей деревянной лестнице. Крепкая, сбитая добрыми руками монахов, она выдержит множество расстрелов русских мучеников спустя лишь несколько лет... Наверху – Свято-Вознесенский скит. Алёша Ганин ставил свечи. Говорил: вот ведь как легко они смогли добраться до этих святых мест. Разве он знал тогда, что они, все трое, погибнут так, как им будет суждено, во славу Руси?! Вот поэтому они – здесь. Над островом летел и струился долгий, тягучий колокольный звон...

На острове Анзер в туманах спит церковь. На горе Вербокольской древний скит. Церковь, посвящённая распятию Христа. Сама гора эта – аналогия Голгофы. Она станет русской Голгофой для умирающих безвинных – в забвении и муке, от тифа и голода.

Ах, какая в Белом море ночь! Тихая, с купающейся недвижимой луной. Неужели это то самое, непредсказуемое, штормовое, суровое море? К ним оно было ласково... От Кеми плыли до Вологды.

Денег на свадьбу у них не было. Совсем. Зинаида телеграфировала отцу в Орёл, чтоб выслал денег: «Венчаюсь». Сергеем овладело какое-то бесшабашное веселье. Авантюрный кураж. Будто то, что он делал сейчас, то, что переживал, было ветреным приключением. Он чувствовал себя Бурминым из пушкинской «Метели». Непростительная лёгкость бытия. Так и надо жить – спонтанно и шутя. Он весь был в этом! Даже походка его – воздушная, летящая, едва касающаяся земли. Венчаться! Прекрасно. Милое развлечение.

На деньги отца Зинаиды купили кольца, одели невесту. Нашли церковь, договорились с батюшкой. Церковь очень старая, посвящённая чтимым в народе святым Кирику и Иулитте. На цветы денег уже не было. Сергей, радостный, взбалмошный, смеющийся, как озорной подросток, нарвал их по дороге – по канавам и прям в цветнике перед церковью... Огромную охапку. «Зачем столько?» – спросила смущённая Зинаида.

Ах, цветы. Его любимые – полевые: ромашки, колокольчики и ещё всякие разные – душистые и пряные. Что-то в груди его счастливо прыгало и резвилось... Ну и ну! Он венчается. В детстве думал: как это будет? Ведь это главный обряд во всю жизнь православного. Потому как крестин не помнишь, а отпевания не услышишь. А ещё это единственный раз, когда простой человек входит во врата, к алтарю.

Лишь когда стоял на покрывале, дьячок держал над головой венец – вдруг остыл, обмяк: детство нахлынуло, сдавило горло чудовищным рыданием. Как же так? Почему он здесь стоит? Больно и неправильно. Тяжёлый венец. Ком в горле.

Священник пел и пел. И уносился голос вверх, под старый купол... Повторил троекратно: «Венчается раб Божий... рабе Божией...» Составили запись в книге. Алексей расписался как свидетель.

Вышли они мужем и женой перед Богом. А он её поцеловал лишь раз! Весело ему уже не было. «Поздравляю!» – Алексей тряс его мёртвую, безвольную руку...

Заветной мечтою Исиды было посетить Грецию и все те места, которые стали колыбелью современной нам цивилизации. Своими глазами увидеть небеса, с которых Зевс отпускал свои молнии, оливковые рощи, полные нимф и сатиров, великие храмы, воздвигнутые в честь богов, куда приходили эллины поклониться им...

Благодаря успеху её танцев в Германии и деньгам, заработанным ею, Исида лелеяла дерзкую идею купить клочок земли рядом с Парфеноном.

Ах, как она и её семья – братья, сестра и мать – радовались, когда их ноги впервые ступили на священную для них землю. Танцевали, пели, призывая и восхваляя Зевса, Апол-

лона, Афродиту и всех муз искусства. Исида танцевала босиком. Все скинули с себя европейские одежды, эти нелепые свидетельства современной декадентской глупости, жеманства и изуродованной морали. Исида выбрала для себя простую тунику – кусок ткани, обёрнутый вокруг тела, в которой была похожа на Афродиту. Остальные члены семьи не отставали от неё. Сандалии и свободная одежда, такая, какую они видели на статуях в Лувре.

Изумлению местных крестьян не было предела. Они выбегали смотреть на них целыми деревнями, как на цирк. Привыкшие к естественному проявлению чувств, некоторые отнеслись весьма злобно к такому маскараду. В одном месте их освистали и закидали камнями. Пришлось возвращаться на своё суденышко, пропахшее овечьим сыром.

Так, плача то от обиды, то от радости, а Исида – в непрерывном танце, добрались до Миссолунги, где покоились останки великого Байрона. Они поклонились ему как человеку, влюблённому в Грецию и оставившему ей своё сердце навечно...

Акрополь с Парфеноном поразил их. Много часов простояли они в священном молчании – звук голоса был бы неуместен в утреннем сиянии Вечности. Вставало солнце.

Странно, но не такого Исида ожидала. Сердце её наполнилось ужасом и экстазом. Мгновенно пересохло в горле. Перед нею в розовом воздухе застыло нечто, чему она не могла подобрать слов. Тишина и полное отсутствие людей, кроме них, на огромном просторе, который мог охватить глаз. И в этом сверкании неба, сливающейся с ним, геометрически ровный Парфенон, белый и чистый.

Под ногами – сухая и твёрдая жёлтая земля, колючие травы, там и сям – кровавые капли маков. Между ними и отвесной скалой, уносящей в небо древнее чудо, множество олив, кустов и грустных кипарисов. Воздух прозрачен.

Скоро, очень скоро раскалённый жар вытащит из-под камней мелких ящериц. Парфенон будто оторван от земли, живёт своей, застывшей жизнью. Неужели когда-то вокруг был город? Думать ни о чем невозможно, потому что это творенье богов.

Исида решила бесповоротно: она бросит все свои выступления и прежнюю жизнь. Никаких браков и сердечных увлечений, никаких денег. Она будет жить здесь, чтобы видеть Парфенон каждое утро своей жизни. Она будет танцевать у его священных камней, в одиночестве, вознося хвалу богам. Много ли ей надо? Фрукты, маслины, простой хлеб и кружка козьего молока утром. Но! Гордыня. Исида решила выстроить свой храм – в честь богов.

Всей семьёй отправились искать землю. Однажды её брат остановился, воткнул в сухую землю посох и воскликнул: «Здесь! Смотрите! Эта возвышенность – на одном уровне с Акрополем!» Так и решили. Новый храм назвали Копаносом. Увы. Несмотря на то, что банковский счёт казался Исиде бездонным, стройка и покупка земли быстро опустошили его. Она была в растерянности. К тому же на их участке земли не оказалось никакой воды. Попытки добыть её из-под земли успехом не увенчались. Что было делать? Нечем было платить за гостиницу. Да и есть тоже не на что! Пришлось срочно телеграфировать своему импресарию. Он выслал денег и целую стопку контрактов, которые Исида подписала, не глядя.

В последний вечер она решила не ложиться в постель. Казалось, рвутся струны её нервов. Она навсегда исчезнет, а стройные колонны всё так же будут уходить в небо... Если их продолжить вверх, до бесконечности, они за счёт лёгкого сужения, заложенного в них, превратятся где-нибудь в небесах в пирамиду, в стрелу, в тонкую нить. Ах, как больно было покидать это место! Будто прощалась с истинной своей родиной...

Оставив семью спать в гостинице, Исида отправилась в Акрополь. Здесь, спустившись в амфитеатр Диониса, она танцевала в последний раз. Лишь цикады были свидетелями её экстаза. Одна в сгущающейся тьме, она чувствовала как никогда присутствие богов. Потому что чудесная сила вливалась в неё через вдыхаемый воздух, через кожу и глаза. Глупо думать, что богов нет... Мифы – это много раз пересказанная из уст в уста правда. Будто воочию

видела бесплотных зрителей, древних эллинов, рукоплещущих ей. Когда-то, на заре времён, они жили вместе с богами, они видели их, как она теперь... нет, не видит – чувствует силу неба и моря, земли и танца, подвластную им. Это был золотой век. Теперь люди иные. Сначала они помнили богов, искали и находили в них силу – это был серебряный век, – а сейчас и вовсе забыли. И наполнила их злоба, они обнажили оружие, чтоб никому не жить долго и счастливо. Железный век. Смотрела снизу вверх. Светлое, синеющее небо с первыми звёздами – купол над полукольцом последних скамей. Кружится, кружится.

В амфитеатре Исида поняла, что танец – трёхмерен. Его надо смотреть именно так, сверху вниз, как смотрят на арену. На сцене – неверно. И ещё. Движения её параллельны рядам зрителей, геометрически выверены. Терпсихора подсказала правильную конструкцию – амфитеатр. Но что она, Исида, может сделать в реальном мире?! Всё, всё напрасно. Непосильная задача – возродить древний мир. Скорбью, безмерной печалью налилась игра её чудесных лебедей-рук...

Она не танцевала в обычном понимании этого слова – она молилась. Её танец стал одной безмолвной молитвой, она постигла её. А потому – постигла, что есть танец.

Утомившись, Исида на минутку прилегла на скамью. Последней её мыслью было: «Какие звёзды высокие...» И чувство незримого присутствия...

Проснувшись на рассвете, дрожа от холода. Будто переродилась. Над Акрополем лился розовый свет. Поцеловала, опустившись на колени, какой-то камень. Каждой клеткой тела чувствовала: теперь она знает о танце всё! Вся древняя сила в её бушующей крови!

Её, эту силу, она выплеснула на зрителей. Её опьяняло полное владение собой, музыкой, дыханием партера, тем ритмом, из которого она ткала свои шаги. Она никогда не смотрела на зрителей прямо. В этот раз она не изменила своей привычке, но... чувствовала чьё-то присутствие в первом ряду. Чьи-то глаза, чью-то силу, ответной волной текущую к ней. Когда, закончив, она поклонилась, тишина стояла гробовая. И – буря оваций. Люди понимали, что они увидели нечто, доселе неведомое, но объяснить что – не смогли бы. Сама Афродита, чарующая, женственная, многоликая, непредсказуемая, прекраснейшая, в какое-то мгновение танца стала Исидой...

В гримёрке её ждал молодой человек. Тонкие, нервные, безупречные черты. Это был сын Эллен Терри, Тед. «Первый гений» Исиды. Он говорил быстро, захлёбываясь, резко, властно. Сначала она никак не могла понять, что именно. В его словах была текучая лава гнева, восхищения, возмущения, страсти и обожания. Закончил он свою тираду словами: «И вообще, что вы здесь делаете? Вы должны жить со мной!»

Исида оторопела. Она видела его впервые. И почему это она украла его идеи оформления сцены?! Эти голубые занавеси цвета моря она придумала, когда ей было восемь лет! Что прикажите: смеяться в лицо этому безумцу?

– Едемте со мной! Немедленно! – заявил он.

– Но куда?! – в недоумении спросила она.

– Куда угодно... В Потсдам! – выкрикнул первый пришедший в голову город.

Они взяли экипаж и к утру были в Потсдаме. Исида слушала этого удивительного парня и с каждым мгновеньем понимала, что они с ним похожи, как близнецы, как две божественных слезы. Все её идеи, все мысли, мечты о новом – всё это он знал. Только его творческий гений кромсал отжившие свой век идеи театра. Она была далека от театра, но видела: они с ним живут, дышат и творят в новом мире! Он – гений!

Когда они пили кофе в Потсдаме, уставшие, бессонные, он вдруг посмотрел на неё так, что она поняла: всё. Задохнулась от желания. А он лишь коснулся её руки. Этот жест завершил то, что уже случилось.

Любовь. Дар Афродиты.

В тот день, вернувшись, они расстались. Потому что Тедди сказал: «Моя работа. Мое творчество. Я должен остаться один». Договорились встретиться вечером у него в студии.

Исида весь день проспала у подруги. Тед мучительно старался творить, но мысли были только с Исидой. Её руки, голос, стан, глаза, дыхание... Он сходил с ума. Зачем же он сказал, что занят! Маялся страшно и безнадежно. Упорно сидел под лампой с ярким светом, комкал, комкал всё новые и новые рисунки декораций к спектаклю... Нет, нет, тут надо решать концептуально. Вместо этого сделал набросок танцующей Исиды, как видел ещё вчера.

Студия была оформлена в соответствии с его представлением о новом интерьере: в ней не было ничего похожего на удобное ложе. Только кубы, простые рельефы рабочего стола, стульев, занавешенные наглухо и днём и ночью окна. В таком помещении теряется представление о времени, и кажется, что живёшь не в тысяча девятьсот четвёртом, а в две тысячи четвёртом. Всё монохромное, чёрно-белое. Единственное потакание современному декадансу – лепестки роз, искусственные, надушенные, разбросанные ковром на полу...

Да, он жил в будущем, и не скрывал этого...

Исида сразу, мгновенно поняла, что Тед – гений. Он и она – два языка пламени, и теперь гореть им вместе!

Едва переступив порог, она упала в его руки. Безумие охватило их. О, что ей было до того, кто он, каково его окружение, его прошлое, его бывшие любви. Сейчас они были вдвоём, горели единой свечой. Исида чуть не ослепла от восхищения, когда он скинул с себя всю одежду. Тонкий, гибкий, летучий. Руки сильные, умелые, с квадратными пальцами. Речи обжигающие, сумбурные, пьянящие. С ним Исида поняла, какова она! Он открыл ей её саму чудом дара Афродиты.

То, что творилось вокруг, было чем-то невообразимым: хаос чистилища, маета грешников. Совсем не о таком Сергею мечталось-виделось, когда услышал впервые: «Революция! Да здравствуют Советы рабочих и крестьянских депутатов!» Главное: никто ничего не понимал. Что происходит?! Кто прав? Эсеры? Когда-то он сочувствовал им более всего. Анархисты? Сила. Меньшевики, большевики, военные, реформаторы, мистификаторы, Махно... Множество всяких толков, партий, направлений. Большевики, пожалуй, роднее других. Они с народом, хоть и не как царь. Все дерут глотку, отстаивая свою правоту. Льётся русская кровушка. За что?! Просто все перестали заниматься своим делом. И началась разруха! Полный разброд всякого сброда. Общество поляризовалось. Каждый чувствовал себя политиком и знатоком. Но никто ничего не понимал!!! Чтобы оценить масштаб свершившегося, твердость власти и узреть хотя бы узкую тропку, что поведёт в будущее, нужно посмотреть на происходящее с вершины времени. А оно-то и не совершило ещё ни одного оборота...

Ах, как он маялся душою. Станный контраст – небесные мечтания, чистота грядущих идеалов и самая настоящая, более чем реальная грязь вокруг. Мгновенно, за какие-нибудь два месяца, ею обросли дома – снаружи и нутром, закоптившись буржуйками; улицы были полны отбросами; мусор и хаос царили также в оставленных хозяевами душах. Потому что низринут двуглавый орёл – символ единства самодержавия и церкви. Наместник Бога на земле сослан в далёкую Сибирь, в холода, в безвременье и безразличье. Долой Бога! Ведь Бог – только символ, бородатый старик; чем дед его хуже?! Новый Человек должен быть свободен от любых пут! Никто не будет хранить его во всех путях его. Он сам построит свой светлый мир. Жизнь – живым! Мёртвым – прах.

В Питере карточки на продукты, за каждым кило пшена стоять надо в длиннющей очереди. Народ кругом злой, озабоченный, нервный. Что завтра будет? Никто не знает. Чем вся маета сгладится? Да и сгладится ли? Так и до голода недалеко. Электричество вырубili. Жили при керосинке. А ну скоро зима?! Они-то, конечно, не бедствовали: ему платили

хорошо, он печатался. На картошку хватало. Иногда и на бутылку вина для друзей – художников и поэтов.

Однажды собрались на день рождения Сергея. По тем временам стол был шикарный: несколько бутылок, запечённая картошка, рыба, винегрет, немыслимый салат из чего-то... несколько свечей и маленькая керосиновая лампа. Было много гостей, в том числе и Алёша с Миной. Сергей был внешне радостен, но за лукавым сиянием глаз пряталась грусть. Всё хорошо в его семейной жизни, всё хорошо. Но хорошо ли ему?! «Вот оно, глупое счастье... Белыми окнами в сад...» Конечно, Зинаида из тех редких женщин, которые умеют создать уют из ничего. Но в этом каменном мешке питерских улиц ему не хватало курлыканья улетающих журавлей. И ещё, ещё чего-то, а вот чего? Он забыл. Как заколдованный мальчик из сказки. Горизонта, что ли? Чего-то и в Зинаиде ему не хватает. Чего-то самого главного. Нет в ней света! Такого же сияния, что он внутри себя чувствует. Она вся на земле, обеими крепкими ножками. И держит его хваткими ручками! Вон, юная Мина – совсем другая. Радостно светится, как будто первый день живёт. Может, и не такой её свет, как его, но он есть. Что ж её так греет, освещает изнутри? Пламень перемен. То ясноокое завтра, что грезится за чередой тёмных дней.

Наполнил бокал, подошёл к Мине, поднял её за локоть. Скрестил с ней руки, велел выпить на брудершафт. Она сильно смутилась, но он сказал: «Не откажешь же ты имениннику! И с Лёшкой выпьешь!» Потом взял свечу со стола и попросил Мину идти за собой. Какими ревнивыми глазами смотрела им вслед Зинаида! Семнадцатилетняя девчонка! Не стыдно ей – женатого слушаться?! Он – её, Зинаиды! Их венчали. А ещё... она пока не сказала ему... будет у них дитя. Почему не сказала? Резок он стал с ней. Вдруг разонравится ему? В соседней комнате поставил свечу на стол. Кивнул: садись. Мина хотела уйти. Удержал. Закрыл дверь. Комната тонула во мраке. Свет выхватывал только поверхность стола и их силуэты. Робко села. Сергей достал бумагу и чернила. Быстро написал пять четверостиший.

– Тебе!

В стихах было её имя, срифмованное с радостью, а ещё тоска о родных долинах и о тяжести чарки в руках...

Он и пальцем её не тронул.

Вернулись к столу, прочёл стихотворение. Хлопали, стучали по плечу. Пили. Зинаида сидела, опустив глаза, почти не разговаривала.

Когда все стали расходиться, Сергей, уже очень пьяный, смотрел, как Алёша снял пальто с вешалки – проводить Мину. Отобрал пальто, натянул на себя. Алёша оторопел.

Сергей шёл рядом с девушкой молча. Она явно тяготилась, он не замечал. Ему было слишком плохо. Когда-то раньше, когда он так же провожал её, они иногда останавливались и смотрели на воду – она в Питере повсюду – и воображали всякие картины, которые будто бы видели в ней... Мучаясь молчанием, сказала:

– Давай смотреть на воду. Что мы увидим в ней в день твоего рождения?

Остановился, посмотрел на неё сурово, покачал головой:

– Ничего не получится.

Потянул её за руку. Оставшийся путь прошёл в тишине.

Ах, как он ссорился с Зинаидой! Как отчаянно горели угли её библейских глаз! Он ей ещё ни одного стихотворения не посвятил! А какой-то Мине – целых два! Неужели она её хуже?! Да она королева перед этой замухрышкой!

Иногда Сергей прямо-таки терял над собой контроль. Уж больно разные они были. Как лебедь и щука. Она – хозяйственная, практичная, но – любящая блистать и покорять.

Он – лёгкий, летящий, взрывной, тоскующий, мечущийся, страдающий.

Блистать и покорять... Сергей заметил, как реагируют на его жену все знакомые мужчины. Вообще говоря, она не делала ничего такого, что заслуживало бы осуждения. Но, глядя

на её улыбку, слыша манеру разговора – хищную и очаровательную одновременно, – почему-то приходило в голову, что, стоит ей предложить нечто интимное, она не откажется. Помани – прыгнет.

Именно это страшно заводит мужчин. Уж не поэтому ли и он, Сергей, так загорелся – и так поцарапался? Что ж, что в ней света нет... Его ни в ком почти нет. Та монашка, которую видел в юности, – не в счёт.

Странно, но он очень полюбил Зинаиду. За красоту, за горячность души. А ещё за то, что по мужской своей воле никак простить не мог. Зачем соврала, гадина?! Неужели он не достоин правды? Однажды не выдержал, ударил её. Сильно, наотмашь. Она упала. Из треснувшей губы закапала кровь. Не вскрикнула, не расплакалась, вот характер! Подбежала к окну, сняла на его глазах обручальное кольцо и выкинула на улицу! Он рассвирепел. Голубые радужки совсем скрылись в чёрных зрачках. Бросил своё – туда же, вслед. Кто дальше? Как у Блока: «Я выбросил в окно заветное кольцо...» Потом долго плакали вместе – мирились. Потом весь вечер в наступающей тьме, во дворе Литейного, куда выходили их окна, искали свои венчальные кольца. Нашли. Эх, молодость, глупая молодость...

Ревновал её страшно. Запретил работать. Жена должна дома сидеть! Увы. Ревности не могло помешать и это! Стоило ей заговорить с кем-нибудь вежливо-ласково, как он уж хмурил лоб. Очень красивы были в его белом лице тёмные брови. Когда сердился, они сходились над переносьем, как два крыла парящей в небе птицы. Смотрел серьёзно, холодной голубизной, в упор. Разговор Зинаиды стихал...

Ревновал к улице, к случайным прохожим, к книге, а особенно – к тому, её первому, о ком молчала, кто был до него...

Мучился страшно. Именно потому, что понимал: любит её. Что было делать?! Он не знал, куда себя деть от этой пыточной муки...

После той ссоры что-то безвозвратно ушло в их отношениях: некая тонкость, чуткость слуха, страх обидеть другого, то, что в лучших семьях хранится из года в год, как величайшая ценность. Треснувшая чашка: как ни клей, целой не будет.

Сергей иногда доходил до бешенства, руки чесались, казалось, что простой мужицкий способ укрощения строптивой и игривой бабы – лучше всего... Цедил сквозь зубы тягучее и клейкое русское ругательство. Брови-птицы схватывались на переносье...

Каким-то далёким, нереальным днём вспоминалась их вторая встреча. Была весна. Они тогда уехали целой компанией молодежи за город. Кто-то вспомнил, что именно в это время нужно играть в горилки. Детство. Таинство впервые переплетённых рук... Когда Сергей «горел», то есть водил и ловил разбегающиеся пары, Зинаида никак не могла убежать, падала, была чудовищно неловка, все смеялись. Сергей сразу увидел, что двигается она некрасиво, в ней нет природной грации. Ноги расставляет широко, как матрос. Такие девки ему никогда не нравились. Но когда он выловил её в игре, образовав пару, – «горел» уже кто-то другой, – они встали впереди «ручейка», и он почувствовал что-то особенное в прикосновении её пальцев, жар разлился по телу. Стояли долго, ведь надо дожидаться, чтобы все побегали. Пел громко, как и положено, скрывая охвативший трепет: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!!!» Потом надписал ей своё фото, где он в змеящихся белых длинных кудрях:

За то, что девочкой неловкой
Предстала ты мне на пути моём.

Столицу перенесли в Москву. Зинаида снова вышла на работу секретарем в Нарком-прод. Вместе с организацией пришлось переехать в Белокаменную. Теперь там вся жизнь крутиться будет...

Нудно качал вагон золотую голову Сергея. Он любил стук колёс, любил ехать... Много, много раз ещё будет поезд мчать его из Москвы в Питер и обратно...

Решил рубить узел: отправил Зинаиду в Орёл, к родителям. Там спокойнее беременной. И сытнее.

В июне Зинаида родила ему в Орле дочь.

Со всей страстью души бросился Сергей в новый мир революции, отрицания старого, отжившего, наносного. Видел он себя сшибающим головой месяц с неба, распахнувшим восьмикрылые руки над землею-матушкой. Такая сила-мощь вдруг открылась в бездне души. Будто революция сорвала венчик тихого над его головой, оттого расплескались шире неба счастливые мысли, свободные думы. Он теперь всё может, всё! Потому что нет границ силе человеческой, нет запретов! Долой! Выплюнуть тело Христово – причастие, – не кощунства ради, а чтоб не через Его муки идти к свету! Чтоб не через искупительную кровь, не через жертву Сына Божьего, а самому достичь вершин горных! Через свет! Чтоб не плакать кающимися слезами, а легко парить в поднебесье. Божественное небо с глазом Бога – Солнцем – оплодотворит мать-землю, и родит она новый урожай светлых дней. Телок грядущей радости упадёт на его родные поля и леса. «В моря овса и гречи...»

Просто и безыскусно молился:

Пою и взываю:
Господи, отелись!

Новая идёт жизнь – свет без конца и без края, – новая религия ей нужна, новая страна, чудесная, иная...

Он будет её пророком.

Москва, кривые улочки, переулочки Тверской. Камергерский, Газетный, Никитский. Там, на них, он впервые увидел Толю. Но увидел ли он его в самом конце дней своих?! Его, невольного *отцеубийцу* и циника? Тогда же, в первые свои шаги возвращения в Первопрестольную, понял, что влюбился. Так всегда у него было: либо люб человек, либо враг. Любил смотреть на нового друга, тихо сияя лёгкой своей, блуждающей улыбкой, ловя Толин весёлый смех, умные, ловкие, красивые и модные речи. Сам Толя был точь-в-точь такой же, как его речи: умный, лощёный, красивый, ладный и модный. Вытянутое лицо, какая-то совершенно особенная, почему-то притягательная манера держаться. Трудно сказать, в чём тут было дело. Может быть, в худобе, а может, в глубине глаз, а может, в смелости его коварного стиха? Бездарного стиха-позы. О, Толик был именно тем человеком, с которым можно было забыть прошлое. Всё своё прошлое, если надо. А Сергею надо было именно это. Толик умел зачеркивать. Жирно, внятно, образно. Его цинизм так сладко щекотал нервы. Сергей представлял свой нежный слог, одобренный идеями Толика. Радостно смеялся. Какой контраст! Какой скандал! То, что сейчас нужно. Сразить всех, исхлестать словами, выплюнуть публике в немытые хари правду об их жизни, правду об их душах.

Однажды был литературный вечер. Они с Толиком и ещё несколькими поэтами их круга, представлявшими новое направление, от французского слова «образ», «image», выступали на нём. Они, как и Сергей теперь, считали «образ» – главным в стихах. Он может быть выражен как угодно и через что угодно. Грусть – через слёзы водосточных труб, радость – солнце на подмётках.

Едва Сергей начал читать свои новые стихи, в которых сравнивал себя с ветром – озорным и стихийным, – как в зале засвистели, заулюлюкали и загалдели. Не понравился. Он попытался продолжать – в него полетели шапки, окрики и мочёные яблоки. Он поймал

одно на лету. Смачно откусил. Зал заржал. Выплюнул, заложил пальцы в рот и огласил зал таким мощным, забористым, деревенским свистом, что у всех уши заложило. Посмеиваясь, затихли. Сергей дочитал стих. Ему хлопали и свистели. Но уже как-то робко, неуверенно. Вообще, тот вечер был провальным. Но они с Толей и не думали расстраиваться. Шли Пятницкой улицей, смеялись. Думали: как быть, куда себя приложить, куда деть силы юные, богатырские? Где деньжат накопать? В стране ничего нет – тем более бумаги. Как издаваться? Печатают только сугубо красных. Аж в глазах рябит от их яростной дури. А им – хулиганам от поэзии – шиш... Решили: будет у них своя книжная лавка. И себя можно будет продавать, никого не спрашивать. Но как помещение добыть? В те дни можно было только отобрать. Что они и проделали. Добились от властей разрешения. А ключи от магазинчика на Никитской у бывшего хозяина из пальцев вынули, помахивая перед слёзными глазами старикашки выданным им ордером... Старикашка хныкал и не понимал искренно, по какому такому праву... и что за право теперь в стране – право сильного?!

Вообще, Сергей был счастлив. Потому что свободен. Он такую мощь в себе чувствовал – голова кружилась. Их время, такое тревожное, такое новое, нервное, – это эпоха. Как та, что пришла с Христом. Это – новое Рождество, великое Преображение... Придёт посланец Света, поведёт матушку-Русь за собою. Он, Сергей, будет его пророком, его предтечей, его глашатаем. Потому что теперь он, а не Александр Блок, Андрей Белый, Николай Клюев или кто-либо другой, будет первым на Руси поэтом. Первым будет только он! Его время пришло, это его революция.

Теперь он знал ключи от Слова, открывающие любую, совершенно любую душу... Те, что отдал ему смиренный Николай. Те, что смутно угадывал в своем крестьянском детстве: в резьбе оконных наличников, в образном строе частушек... Вот они, ключи, лежат на виду. Поди возьми их! Ан, не тут-то было. Сергей думал хранить их? Нет! Раздать всем! Написал книжку прозой. Так и назвал: «Ключи Души». Посвятил Толику. А надо было – смиренному, ненавистному теперь Николаю, тянущему его в прошлое, когда он был крестьянским Лелем для всех. Лель – дитя, лялька. Врёшь! Он не то совсем! Он поэт, над всей Россией крылья рук распахнувший. Не смей тянуть его в тёмный плесневый угол несуществующего Китежа!!! Пусть утонет навсегда всё прошлое. «Новый на кобыле едет к миру Спас». А он – пророк, не устрасится гибели. Будущее – это он сам!

Истинное Слово не золотится клюевским фальшивым блеском, Оно «проклёвывается из сердца самого себя птенцом».

Ему, Слову, готов он отдать всю жизнь свою без остатка. Четыре кожи с себя содрать – но «попасть под тень „словесного дерева“». Смиренный Николай и сам не знал, как Слово открыть. А суть его – только в движении образа. Вперед и вверх, как тянутся к небу коньки на крышах наших изб. Они везут дома в небесный рай, в ирий. Крышами – крыльями – машут, смотрят окнами – очами. Застывшая картинка красоты – это смерть Слова. Клюеву не поднять «Ключи Души». И никому, кроме него, Сергея, не поднять их...

«Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт».

Когда-то читал «Ключи Души» Зинаиде. Поняла она? Не особенно, он видел. Зато Толик понял. Сразу суть ухватил. Ухватить-то ухватил, да по верхам. И ну склонять в стихах своих! Удивительное дело, всем, кому открывались эти «Ключи», вдруг сразу начинали считать их своими. Потому что была в них великая Правда о Слове, та, которую все видят каждый день, но никогда не замечают, проходят мимо, та, которую можно сравнить с булыжником мостовой...

Однако вскоре радостное настроение сменилось иным...

Зима была лютей день ото дня. Электричество отключили, дров достать – кучу денег надо выложить. У Толика была комнатка в Богословском переулке, рядом с Большой Дмитровкой и Козицким переулком. Там они и обретались. Давно уж в чёрную трубу буржуйки

вылетел письменный стол мореного дуба, книжный шкаф и собрание сочинений неудачливого литератора. Толик как-то со смехом предложил поставить самовар старенькой иконой Николая Угодника, пылившейся в углу. «Горький будет чай», – сказал Сергей. «А говорил – не веришь в Боженьку!» – рассмеялся Толик. «Не отречешься – не покаешься. Только ты ведь не покаешься, Толик? Сам пить будешь. Позднее. Годков через двадцать...»

Однажды стояли, обнявшись, у окна, мёрзли. Смотрели на улицу. Одновременно обоим пришла в голову одна и та же мысль! Вокруг старых тополей, стучавшихся в окна, был низенький заборчик. Ну кому он нужен? Да ещё в такое время! Все средства хороши. Бросились вниз. В тот вечер им было очень тепло. Эх, если б соседи не помогали, им бы дров до весны хватило!

Запирались на ночь в ванной. В колонку – обрезки забора. Красота! Руки замёрзшие сначала становились красными, а потом истомное тепло овладевало всем согревающимся телом. Матрац – в чугунное ложе. Дрыхни – не хочу. По очереди. Доску на раковину – стол письменный, стихи писать. В тепле и неге они сами текут!

Возмущённые и завистливые соседи выселили-таки их из облюбованной ванной.

Самое страшное – лечь в холодную постель. Потому что всё ложе промёрзло насквозь. Пока согреешь его своей кровушкой, пока клацанье зубов остановишь... Придумали они с Толиком хитрую вещь. На такие проказы они горазды были. Мастер в них был, конечно, Толик. Сергей так – подпевала. Смеялись до колик в животе, по полу катались. Пригласили девушку постель греть. Платили ей. Голод не тётка. Обещали, что будут сидеть тихо, отвернувшись, с книгами в руках, на неё смотреть не будут. Раз пришла девушка, два пришла, три. На четвёртый выскочила из мёрзлых простыней, крикнула в возмущении, бросила в них что под руку попало. Что такое?! Они честно блюли соглашение: на неё не смотреть! Вот за это она в них и бросила, что под руку попало...

Ну и смеху у них было, когда дверь за незадачливой гостьей захлопнулась! Одна беда – холодно.

Кушать ходили в погребок подвальный. «Рэсторан». Подавали там котлетки из конины, размазанную по тарелке кашу, сладкую, серую, помороженную картошку, морковный чай или желудёвый кофе. Сахарин – с собой. Дрянь, в общем. И вонь от кухни стояла такая, что конина в горле на дыбы вставала.

Шли как-то из того «рэсторана». Темно. Фонари горели только в двух местах Москвы – в Кремле и вокруг чела памятника Пушкину. Были они квадратные, старые, белёсые. Странный свет исходил от них. Он был тем более странен, что тьма вокруг была непроглядная. Тьма – и высвеченный чугунный Пушкин, парящий над Тверским бульваром. Вокруг фонарей и его головы – белый туман. Сергей шёл, засмотрелся на памятник, оступился и выругался. Толик заржал. Сергей тряхнул белыми, едва различимыми во тьме кудрями. Остановился как вкопанный:

– Посмотри! С этой точки Пушкин – блондин!

Толик заржал ещё пуще:

– Ага! Как ты!

В другой день шли Мясницкой. Конина стояла в горле. Холодный воздух врывается в лёгкие.

Жуткое зрелище: трупы, трупы, трупы лошадей. Как корабли в реках и морях площадей и улиц... Они оказались слабее людей, выживающих в проклятом городе...

Мусор никто не убирал. Вылущенные семечки, бумажки, разбитые стёкла развороченных, умерших домов... Собаки глодали разбухшие конские туши. Вороньё хищно, громко и надсадно каркало. Ждали своей доли. Хлопали крыльями, как чёрными, дьявольскими пару-

сами. Разве это похоже на мечту новой, *иной* страны?! Сергею чудились чужие жадные руки, отрубающие кисти врагов, чтоб плыть, гребя ими, в новый мир, который грядет...

Эта чудесная вилла была просторной и прохладной. Её со всех сторон обдувал морской ветер. Исида часами гуляла вдоль кромки воды. Она не танцевала. Ей было страшно. Тело, её чуткое тело, коим владела, как скрипач своей скрипкой, перестало слушаться и вдохновлять её. Исчезла девичья лёгкость, тело раздулось, как дрейфующая в солёной воде медуза. Тяжело она несла беременность. Тед, её гений, был против этого ребёнка: «У меня их уже пять!» От разных женщин! А она-то думала, что он обрадуется. Опустив голову на лебяжьей шее, твёрдо сказала: «Это будет мой ребёнок».

Потекли тоненькой пока струйкой денежки от продаж в книжной лавке – сменили смрадный подвальчик на кухню в доме старой, аккуратной немки. Была та квартира у Никитских ворот. Готовила немка изысканные по тем временам блюда. Таких яств вряд ли где было ещё в Москве достать. Расстегаи да царская уха, эклеры да крылышки цыпят жаренные, сочные котлетки из свинины да душистый морс из клюквы. Чего там только не было! А чего не было – того они и представить не могли. Сергей всё равно про себя думал, что мамины пироги вкусней. Как говорил смиренный Николай про рязанские пироги с глазами: «Их ядять, а они глядят!»

Ах, каким приключением был каждый день! Они купили себе костюмы одинаковые, светло-серые, бабочки, трости и лаковые штиблеты. К сему щегольскому виду прилагалась ещё отутюженная сорочка белее первого снега. Так и рассекали они грязь и смрад окружающий, ловя на себе то восхищённые, то завистливые, то ухмыляющиеся взгляды. Сколько раз у них мандаты спрашивали! Буржуи! К стенке! Узнавали, что поэты, – ухмылялись ещё шире, ещё радостней. И отпускали.

Это Сергея развлекало. Грусть-тоска не так мучила...

Как-то раз поехали с Толей в Питер. Ах, какой в Питере дождь! Кто не знает, какой там дождь, – скверный, холодный, изнурительный дождь! Промокли до нитки. Карточки на промтовары тоже промокли. Деньги, мандаты, носовые платки. У Толика с длинного носа капала вода. А вытереть нечем! Сергей умирал от смеха. Пытались карточки отоварить. Везде разводили руками: нет шляп! Наконец, какой-то немец вытащил из недр склада два цилиндра. Видать, лежали они там с полвека. Схватили их, не глядя. А потом понравилось. Потому что смотрели на них хуже, чем на голых на улице. Шеи сворачивали. То, что надо!

Однажды Сергей брёл один, задумчивый, где-то то ли в Левшинском, то ли в Чистом, то ли в Чертольском переулке, то ли ещё где. Кружил там, кружил, запутался, как в лесу. Будто леший водил. Два раза на одно и то же место выходил, возле Чертольского. Беда, позабыл, где точно. А иной раз снова хотелось встретить того странного старичка, да он как в воду канул! Сколько Сергей ни ходил, ни кружил, так и не смог найти снова то место. Так вот. Стоял старичок у входа в свою лавочку. Как увидел Сергея, стал звать. Мол, диковинка для него есть. Сергей вошёл. Точнее, спустился ступенек на девять вниз. Задел цилиндром притолоку. И – будто окунулся в прошлый век. Старинные вещи, какие-то гравюры, пыль, чуланный запах, божница в углу. Старичок извлёк откуда-то перстень. В нём горел рыжим светом чудной камень.

– Сердолик, – сказал хозяин каморки.

– Такой Пушкин носил! – воскликнул Сергей.

– Сказки всё баешь, – усмехнулся старик.

– Отчего же сказки? Правда.

Старичок помялся немного, а потом сказал:

– Знамо, правда. А почему «такой»? Энтот и носил. Правда в нашей жизни – это сказка, милоч. А вот ещё правда – фараоны в Египте любили...

Сергей ахнул:

– Неужто тот самый?! Александров?

Надел на палец. Кольцо было витое, восточного колорита. Сердолик – восьмигранник. Поднёс к глазам: какие-то таинственные письмена. Не иначе как на персидском! Золото было потемневшее.

Старичок замотал головой:

– На большой палец надоть, как Ляксандр Сергеич носил.

Сергей усмехнулся. Перстень впору.

– Ну и носи, – сощурился старичок.

– Сколько за него хочешь? – спросил Сергей.

– Сколько я хочу, ты мне дашь. Блоку предлагал... Он отказался. Вот выйдешь отсюда – что тебе первый человек предложит, на то согласишься. По рукам?

– По рукам, – согласился Сергей.

Он подивился. Отчего это старичок сам себе противоречил вначале? Ещё раз на убогого глянул. Тот его к выходу подтолкнул. От лампы перед божницей свет играл в самой глубине камня – тёплого, яркого и загадочного.

Вышел. Яростью сердоликовой ударило солнце в глаза.

Шёл и думал о словах старика. Как это: Блоку предлагал? Блок – в Питере же! А там, в камере, странным не показалось, будто так и надо. На Толика старичок похож чем-то. В лица людей вглядывался. Кто? Что ему предложат? На него смотрели. Почему? Ах да, цилиндр... Да ещё он сам смотрит на всех как полоумный... Тьфу. Добрел до дома, до Бого-словского, по бульварам, а потом через Козицкий. Устал страшно. Будто сто пудов на плечи взвалил. Никто ему ничего не предложил. Поднялся. Вот их квартира. Сорок три. Вошел. Толик валялся на кровати, задрал ноги на спинку. Весело осклабился вошедшему другу.

– Ты чё такой бледный? – спросил.

Вскочил, заглянул в глаза.

– Слушай, Сергун! Я до потрясающей вещи дошёл! Своим умом, имей в виду! Это будет нашей тайной...

Взял за запястья, усадил рядом. Почувствовал перстень.

– Вот оно... Вот, – застучало у Сергея в мозгу.

– О! Где достал? – удивился Толик.

– Нашёл.

– Врёшь, Вятка!

Это была его кличка, так сказать, для внутреннего пользования в кругу друзей, означающая породу коротконогих лошадей.

– Ну так что за тайна? – спросил Сергей.

– Мы должны всё себе позволить, понимаешь? – сияющими глазами Толик смотрел в глубь его синевы. – Свобода должна быть внутри, сутью. И на эту нашу свободу, как бабочки на огонь, полетит вся эта дура-публика!

– Всё? Позволить? И плохое? – удивился Сергей.

– А что такое «плохое»?! Что? Конина на обед – вот это плохое! Зла нет! Оно – часть добра, – сказал Толик.

– А как же «не убий, не укради»?

– Оно тебе надо? Мне – тоже нет. Нам нужна слава, любовь и деньги! И всё это у нас будет. Ну, как? – подставил ему ладонь.

Сергей легонько хлопнул по ней. Ах, поцарапал перстнем! Лёг в кровать, примятую Толиком, и уснул мертвецким сном.

Полюбил он бродить с ним кривыми улочками Москвы. Был в них дух патриархальный, душа древняя. И ничто не могло убить её – ни мусор на мостовых, ни разбитые окна, ни топот убегающего вора. Всё это вливалось в них, навеки становясь их частью, их памятью, отпечатком в каменных стенах. Иногда он шёл с Толей за руку и думал: вот они здесь идут, и раньше до них веками люди шли. Тоже мечтали о чём-то. И его след оставит светлое дуновение в грязных окнах. Может, прозвенят они когда-нибудь о нём?

Переpletённые пальцы вливали в сердце счастье, невозможное, близкое и щемящее. И – боль. Что-то будет с ними дальше? С каждым днём всё угрюмей и угрюмей дела новой власти. Всё горше и горше хлеб. Одновременно: боль и надежда на неведомое, предчувствие беды и ласка каждого дня. Думал о Толике: «Красивый. Ему цилиндр к лицу, не то что мне. Благородное лицо. Смокинг надеть – лорд...»

Просыпался Сергей всегда вдохновенный, в неясном ожидании чуда. Как бывает в детстве, когда знаешь: сегодня едешь в неведомые края. И не думаешь, что путь тяжёл – родители позаботятся, а тебе останется только смотреть по сторонам – ловить глазами сиянье облаков и мельканье океана трав.

Просыпался – и бросался писать задуманный с вечера стих. Вслушивался в тихую, звучащую внутри музыку. Ладно струились строчки. Потом черкал, правил, мучительно выискивал, выслушивал ухом мелодику. Чтоб нигде не прерывалась сила слов, как в старорусском заговоре, чтоб текла сила ровно, как Ока, нарастая и нарастая мощью. Чтобы стала сила в конце стрелой, пронзающей сердце навсегда. Чтобы стала она ветром буйным, сметающим всё на своём пути.

Звери. Он всегда любил их. Любил звериной нежностью всякую тварь, как родную, единокровную. Разве людям сравниться со зверьем? Только лучшим из людей. Самым сильным, самым большим. Чувствовал в себе силу зверей первобытную. Её – в стихи перелить, чтоб выла над погибшею его Родиной, чтобы лаяла в сердца чёрные-чёрствые, чтобы плакала малиновкой над умирающими, опустелыми полями...

Разве сука не знает, что хозяин её кутят идёт топить? Знает вперёд. Плетётся. Разве не любит она их, как всякая мать, – детей своих?! Кому ей отдать тёплое своё молоко? Разве ей не хочется не быть, не жить, не видеть мир после...

В Туркестан и на Кавказ ехать собрались неожиданно. У них с Толиком всегда так было. Раз – и на ногах, и в путь. У Толика друг был старый, ещё по Пензенской гимназии. Хорошо устроился, гад. Чинком на железных дорогах. Отдельный вагон. Мягкий. Белый. Ни тебе преград на пути, ни голодухи. Секретарь его только мандатом на всех станциях размахивал да жёлтую кобурку показывал. Эх, время! Авантюристов и романтиков, бандитов и хулиганов, дураков и убийц. В каждом городе начальник станции брал под козырёк, видя их мандат: «Есть, пропустить без очереди!» Так они быстрехонько до самого Кавказа добрались.

Друга Толика Сергей прозвал «Почём-Соль». Потому что, разъезжая по стране, тот первым делом везде интересовался: а почём в этом городе соль? Сергей потешался... Даром что мандат важный имеет...

Ах, хорошо ехать вот так, под мерный перестук колёс грезя о новых далях... Грезить – приятнее, чем видеть вью. Да и какие дали? Как глянул на беды неисчислимые, что гнали, как засыхающую листву, голодных крестьян, сорванных с родных мест... Если ноги двигались ещё – шли. Куда? Куда глаза глядят. В тщетной надежде – жить! Как тут забыться ему? Куда глаза и сердце деть?! А этой честной компании его друзей – хоть бы хны!

Кавказ разочаровал Сергея. Почему-то дома, со среднерусских равнин, казались горы значительнее, романтичнее. Неужели тут Пушкин был?! И прикипел сердцем... Да и люди-то обычные. Посытнее. Торговки на станциях...

Отъехали на Пятигорск от Тихорецкой. Вдруг по всему вагону гвалт разнесся страшный, как волна голосов окатила. Подскочили к окнам: что случилось? кого задавили? В закат-

ных лучах солнца бежал взапуски с поездом, пытаясь от страха обогнать его, рыжий, глупый жеребёнок. Сергей ахнул и бросился к дверям. Стоял с ветром в лицо, смотрел зачарованно на грациозный бег. Ах, как он мал, ничтожен, но прекрасен и наивен в своей отваге!

Жеребёнок все бежал и бежал. Закидывал длинные ножки высоко, почти к голове. Народ кричал и улюлюкал. Подбадривая скакуна, Сергей тоже развеселился, махал руками. Золото солнца запуталось в курче его пшеничных волос. Но разве справиться живой крови, нежным жилам и пляшущей гриве с железным выдохом гари грозного бездушного коня?!

Жеребёнок отстал, а Сергей всё стоял и стоял у двери, пробираемый ветром. Вихрь, быстрое движение, мельканье трав, деревьев, плывущие дали. Голова кружилась. Уж давно жеребёнка не было, а казалось, он бежит, вот бежит и бежит. Сергея окатила усталость. Физически налились тяжестью руки и ноги, будто это он бежал сейчас, надрывая жилы. Растаял безумный бег, будто и не было его никогда. Наверное, даже трава не примялась. Зачем же, зачем? Зачем всё это: небо, он здесь, в дверях, этот милый жеребёнок, абсурд и грусть. Завтра об этом никто не вспомнит. Так что же останется?! Бездушный поезд, разрезающий доли и реки, чугунный и мёртвый.

Друзья уж давно ушли в купе. Эпизод прошёл, он развлёк, и они забыли его сразу.

Сергей же не мог двинуться: сковало руки и ноги, как путами. Ком в горле. Как же так, как же так? Глупый, смешной и прекрасный...

Разве не должен был он отстать от железа, начинённого подожжённым углём? Должен. По-другому ведь не могло быть...

Весь оставшийся день Сергей не проронил ни слова. Забросил «Госпожу Бовари», которую читал до этого, не отрываясь, пытаясь забыться в волшебстве талантливых строк. Дышать было тяжело. Жеребёнок стоял и стоял в глазах. Где-то он сейчас? Выловили, поди. Вернули домой. Будет знать, как с чудищем тягаться... Всё у него будет хорошо, всё хорошо. А у него, Сергея?! Н-е-е-е-т!!! Теперь уже – никогда.

Потому что в тот день он всё, всё про себя понял...

Уже вечером вышли на какой-то станции. Кинули гремящее, пустое ведро в колодец. Оно брэнчало визгливой, дешёвой жестью. Сергей, стиснув зубы, смотрел, как тонуло. И молчал, как будто это его в воду окунули...

Видел он Зинаиду редко, когда наезжала из Орла в Москву. Танюшку, дочку, привозила. Светленькую, голубоглазую, вылитую копию Сергея. Знала сердцем женским – это единственная нить, что может Сергея удержать. Дочку он полюбил, но она его не признавала: чужой дядя, в рёв ревела на коленях. Тяготился Сергей своей женой. Её страстью, тем, ревнивым, чёрным, что жило в сердце его. На кой ляд ему жена? Овца в хлеву – вот жена поэта. От неё вдохновения больше. Да и Толик на ухо дудел: мол, полёт с прозой жизни в одну повозку не запряжешь. Свобода – единственная их жена. Сергей мучился страшно. Потому что любил. Любовь сама по себе была слишком тяжка для него, слишком жгуча. Потому что чем дальше, тем любил он больше. Что же ему сделать, как оскорбить её, чтоб поняла, чтоб ушла навсегда? Гнев затапливал глаза. А тут ещё Зинаида заявила, что у неё снова ребёнок будет! Бросил ей: «Не мой! Это – не моё!» Зинаида хлопнула дверью, оскорблённая.

Ловкий Толик сыпал идеями день ото дня. Выдумал всю Москву разыграть! И как! Сделали листовки. Крупными буквами на них было написано: «ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ». И мелко: «Поэтов, живописцев, актёров, композиторов, режиссёров и друзей действующего искусства. Имажинисты всех стран, соединяйтесь!» Подписи тоже стояли – всей их группы «рыцарей образа». К чему зывали? Да просто пройти по Тверской до памятника Пушкину. Стихи почитать, картины на летучей выставке показать-продать, да просто горло подрать.

Вот их ответ наркому Луначарскому за неодобрительную статью в адрес их стихотворного направления! Никто их ответных статей печатать не хотел. Ни одно издание не решилось. Как же – нарком! А они кто такие?! Имажинисты? Кто это?! Голь перекатная. Пришлось иной «ответ» придумывать. Да такой, чтоб вся Москва ахнула, чтоб не заметить нельзя!

Народ тогда пуганый был. И неграмотный по большей части. Как увидел «всеобщую мобилизацию», останавливался, глазел, пальцем в листовки тыкал...

Клеили листовки две девчонки. Поклонницы «рыцарей образа». Галина – с острым зелёным взглядом под сросшимися густыми бровями, улыбкой пронзительной и длинными чёрными косами. Анна – широкоскулая и курносая, пухленькая и милая. У неё всё было пухлым: и щёчки, и ручки, и ножки, и губки, и даже, кажется, пушистые, коротко стриженные волосики. Глазки распахнутые, чуть навывкате. Одно слово – мордovorotик.

Впервые Галину Сергей увидел на одном из вечеров в Политехническом музее, когда выступал. Бойкая девчонка нагло выставила свой стул перед первым рядом. Её место-то заняли. Вот вам! Сергей таких оторванных и смелых любил. Улыбнулся про себя, втихомолку. Смотрел на неё долго. Странная внешность. Нескладная какая-то, резкая, как мальчишка. Но огонь в востреньких глазёнках есть. Когда Сергей интересовался кем-то, то смотрел прямо, в упор, по-мужски. Женщины такой взгляд сразу видят и понимают, даже неопытные.

Потом эта девчонка частенько ему встречалась. То в коридоре – будто невзначай. То в кафе. И – румянец во всю щёку, когда его видит. Толик уж подшучивать над нею стал: верный знак – неровно девчонка дышит к нему, Сергею.

Пусть себе, он ведь не пропустит...

Клеили листовки ночью. В Москве тогда фонари не горели. Темно, светит луна-злодейка, да и ту облака иногда закрывают. Клеили бригадным способом. Галина шла впереди. На фасаде дома, на заборе ли, на столбе проводила кистью с клейстером. Анна шла следом шагов на десять позади. Прислоняла моментально листовку и проводила ребром ладони: готово!

Ах, какое приключение! Галина жалела об одном: никаких происшествий не было! Им бы ещё сотенку листовок расклеить. Она ради Сергея и на костёр взойшла бы – глазом не моргнула...

В это же самое время сами «рыцари» с лестницей под мышкой обходили любимые улицы, снимали старые дощечки с названиями улиц и крепили свои, посвященные себе, любимым и знаменитым. Так, в одну ночь Кузнецкий мост стал носить имя Сергея, а на Большой театр Толик собственноручно повесил свою фамилию! Также были переименованы Большая Никитская, Большая Дмитровка и другие. Ох, весело им было! Хотели переименовать и статую свободы, да Сергей отговорил. Знал, чуял, наверное: это уже не баловство. Это – политика.

Увы! Утром все дощечки были сбиты. Дольше всех – три дня – продержался Кузнецкий мост Сергея.

Мобилизация – слово по тем временам грозное. Страшное слово. Только час радовались «рыцари образа» своей удачной шутке. Нашли их быстро. И по особым приглашительным билетам препроводили в московскую ЧК. Прямиком к следователю. Улыбки с лиц слетели в миг. Пришлось каяться, объяснять, что ты не верблюд. Что это так, молодость и глупость. Сергей вдруг сказал, что он один виноват. Это он листовки печатал в Туркестане, куда к другу ездил. Повисла пауза. Следователь вздохнул, тактично объяснил всё безобразие их поведения в свете политического момента и отпустил с миром. Однако где-то в глубинах чёрных кожаных портфелей остался тот протокол маленькой чёрной меткой...

Увы, аккуратную немку, что готовила им эксклюзивные обеды, загребли в милицию. За незаконную спекуляцию среди пролетарского голода. За то, что девочек тайным богатеям

приводила. За то, что купить да продать у неё в салоне можно было всё что угодно: от золота до редкостей. За то, что собиралась ночами малина – в карты играть. Было, прихватили и Сергея с Толиком, да отпустили потом. Фотографировали в грязном тюремном дворе всей взятой в плен компанией гостей. Сергей пытался отворачиваться, надвигал шляпу на глаза – всё равно сняли. Отпустили через пять дней. Кто они? Поэты. Богема, а не спекулянты. Увы, в тот день они остались без свиных котлеток и нежнейших эклеров. Уж и запомнилась им богатая квартира у Никитских ворот! Что делать? Открыть своё кафе! Что там разрешение! Денег сколько надо! Нашли мецената. Уговорили. Вошли с ним в пай. Знали доподлинно: их литературное кафе на всю Москву греметь будет! Бумаги-то нет. Выбить книгу в печать – невозможно! Кафе – это сцена. Собственная!

Совсем рядом со Страстной площадью притаился полуподвальный погребок. Здесь и до революции было кафе. Заправлял любимец публики, бывший клоун. Где он ныне? По заграницам скитается. Они просто попросили знакомого художника, Жоржа, экстравагантного и авангардного, и он размалевал стены кричащим ультрамарином. А поверх – ярко-жёлтыми брызгами – стихи Сергея, Толика и других рыцарей «образа». Меж двух зеркал был даже исполнен портрет Сергея – страшно шаржированный и страшно похожий. Другие портреты были не столь хороши, но тоже узнаваемы. Толик ударял кулаком по диску солнца. Так, как написано в его стихах. Окна изнутри – в арках. И всё помещение, если отвлечься от боевой раскраски и антуража, более всего напоминало старинную трапезную. В кафе вело два входа: центральный – для всех, и чёрный – для своих. Центральный был со стороны Тверской, а чёрный – из Гнездиковского переулка. Ступив в него, надо было сослепу не упасть – сразу три ступеньки вниз. Потом небольшой коридор и снова вниз. На вывеске – крылатый конь и летящие за ним буквы. Вот она, в конце залы, – любимая и ненавистная после сцена.

Площадь тогда была большая, а Тверская – узкая. Спустила полтора десятилетия её расширили, двигая фундаменты зданий с нечётными номерами. На бульваре стоял чугунный Пушкин, склоняя задумчивое чело перед Страстным монастырем. Страстной – значит, страстей Христовых, Его мук. Поэт клонил голову перед неизречённой святостью места. Это ныне здесь – кинотеатр «Пушкинский». Теперь Пушкин стоит к нему спиной. А незримый ангел с обнажённым огненным мечом всё так же сторожит свергнутый алтарь...

Здание монастыря, обнесённое массивной стеной, было покрашено розовой краской. Голубые башенки молчали о старине. Колокольня – рука, молящая к небу. Крепость уединения в самом сердце Москвы. Или от того так задумчив Пушкин? Может, зрит конец земного своего бытия?

Если б он видел, что творится с его милой, патриархальной Русью! Хоть и не у сохи вырос, хоть и ветреный повеса, а кровью сердца изошёл бы. Весь свет московский, все улицы и переулки были наполнены нищими, голодными, умирающими. Тиф и холера косили людей. Женщины с грудными детьми на руках стучались во все двери, Христа ради прося хлебушка. Эти люди были лишь ничтожной частью тех, кто старался в безумной надежде выжить, прорваться в Москву. Потому что везде стояли заградотряды, отбирающие всё съестное, расстреливая непокорных на месте. Москва была закрыта, отрезана от остальной страны. Голова с петлёй на шее. Да и в других местах невозможно было никуда переместиться. Связанная по рукам и ногам – пленница-Русь.

Однажды шли Сергей с Толиком через площадь. Что такое? Звук ливенки. Разве Сергей пройдёт мимо? Народ кольцом окружил кого-то. Подошли. Беспризорник лихо и незвучно растягивал мехи. Он был столь чудовищно чумаз, что непонятно было, сколько ему лет. Рваный ватник на зиму и на лето, несоразмерные башмаки. Пел сипло и «жалистно»:

...Эх, умру я, умру,

Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могила моя.
И никто на могилку
На мою не придёт,
Только ранней весною
Соловей пропоёт...

Толик взглянул на Сергея и прыснул со смеху: тот плакал. Сжимал челюсти яростно, до желваков на скулах. Толик не выдержал:

– Вот рифмы дрянные!

Сергей скрипнул зубами:

– Ненавижу войну до дьявола!

Мальчишке кто-то дал хлеба. Он впился в него зубами сразу, жадно глотал, не жуя, как собака... Кто-то положил рядом с ним крошечный обмылок. Сергей достал пачку денег. Отдал всю. Беспризорник даже рот открыл от удивления. И переслал жевать. Толик не успел Сергею помешать.

– Ой, дяденька! Понравилось? Ещё спеть? Я вмиг!

Сергей покачал головой.

Шли домой молча. Толик дулся, Сергей мучился.

Исида родила прелестную девочку, вылитую бабушку, Эллен Терри. Увы, она не ожидала, что роды – это столь чудовищно. Думала, природа знает, что делает. Она ведь естественна и легка, как её танец, как пена на гребне волны. Увы, увы. За двое суток непрерывной муки несколько раз была уверена, что умирает, потому что не оставалось сил. Смерть она чувствовала безошибочно, с полной ясностью, будто некое холодное присутствие, неизбежность, то, что эллины называли «рок». Только её мощное тело, воспитанное каждодневным танцем, смогло выдержать. Зачем смерть стояла рядом? Рядом, вот здесь, слева. Чтобы она помнила, что родит смертное дитя? Выжив, Исида поняла: нужно сделать всё, чтобы облегчить женщинам это варварское испытание. И ребёнок – её! Мужчина никогда не может иметь на него не только преимущественного, но даже равного права! Этот проклятый мужской мир надо переделать. Срочно! Она этим займется.

Ужасная вилла. Ни одного сносного врача на километры вокруг. Вмиг Исида её разлюбила. Домой!

Они сидели суровые и значительные: четверо в кожанках. Птичка, как прозвал Сергей финансового директора их кафе за особую, мелкую птичью повадку, суетился вокруг них. Гонял официанток то за водкой, то за нехитрой снедью, которую ели тогда все и везде. Птичка переживал: вдруг закро-о-ют! Эти – в чёрной коже – всё могут. А он только-только ощутил всю прелесть первого успеха. Ещё бы: самое скандальное литературное кафе! Его поэты такие перлы загибают со сцены! Вой, топот, свист и истерики восторга. Ах, как он вокруг кожанок крутился! Только не к нему они пришли. Послал Птичка за Сергеем с Толиком.

Сергей шёл весело: сам чёрт ему не брат. Он вообще тогда так жил. Лёгкий, как пёрышко, как птица, не шёл – тихо летел над мощёной мостовой. Полы его светло-серого плаща развивались за ним, как крылья. Чиркал тросточкой по углам. Стремительный, ворвался в зал, сверкнул на незнакомцев синью глаз, улыбнулся светло. Те не шелохнулись, не раскрылись, как раскрывались к нему все другие люди.

Тяжесть виева в веках одного из незнакомцев. Едва взглянул. Кивнул. Сергей приземлился на стул рядом. «Вий» бездонно уставил в него глаза:

– Такое дело... Вы, надеюсь, за Красную армию, за большевиков?!

– Да, разумеется, – вставил Толик.

– Сочинить надо стишок. Или поэму – лучше. У вас тут напротив – Страстной монастырь. В нём – контра!!! Укрываются там – не выкуришь. А красных, наших, в стенах этих поганных сгубили! Нужно, чтоб весь народ против встал! Там, там дом для публичных девок! Такое чтоб написать! Чтоб... чтоб...

«Вий» не находил слов. Толик кивал. Сергей не думал. Он ощущал холод наганов в кобурах на поясе, поражался яростной тупости этих «вигов», но при всём этом не мог не почувствовать особой силы и убеждённости, что исходила от них. Ах, он хотел бы быть столь же фанатично уверенным в себе, уверенным в том, что нужно делать и куда идти.

Крепко не любил Сергей чёрное духовенство. Случается, они порок рясами прикрывают. Уж лучше в миру жить, чем в святых стенах грешить. И патриарха Тихона невзлюбил. За то, что призывал бороться с красными. Это лишь кровушку русскую льёт! Какой это патриарх! Он должен всё принимать как есть, смириться и подставить щеку. Или сердце под пулю. Чтобы искупить своим сердцем великий грех великой Руси. Вырвать сердце, как Данко, и отдать...

– Мы вам мешать тут не будем, работайте, – закончил «Вий».

Стены монастыря выкрашенные в тёмно-розовый цвет, этот цвет знала вся Москва. Утром на них появились строчки:

Вот эти толстые ляжки
Этой похабной стены.
Здесь по ночам монашки
Снимают с Христа штаны.

Сергей свистнул, когда увидел, сколько народу сбежалось читать его писанину. Вся площадь! Милиция пыталась сдержать горожан, оскорблявших монашек, которые молча и безуспешно тёрли тряпками строки. Краска была надёжная – строчки въелись намертво.

Клюев потом как-то сказал Сергею: «От оклеветанных голгоф – тропа к иудиним осинам».

Всю оставшуюся жизнь они помнили потом этот день, что столкнул их случайно вдали от дома, на неизвестной станции, в разных поездах, спешащих в противоположные края России. Она, Зинаида, ехала в Кисловодск, он, Сергей, – в Персию с Толиком, Почём-Солью, его свитой и старым знакомцем, Яковом, что в бытность их общего прошлого был эсером, к партии которых Сергей тяготел и на коих возлагал надежды на благо и будущее России.

Яков был мрачен. Совсем ещё молодого человека, его очень старила чёрная, сплошная борода, от висков до шеи. Но она же придавала ему значительности. Бледное, демоническое лицо, взгляд глубок и пронзителен, исподлобья. В такие глаза смотришь – и тонешь. В бездне. От него исходила особая эманация, имени которой и определения Сергей никак не мог подобрать. Она манила его тайной и силой.

Он был сделан из теста героев и фанатиков. Сергей всем нутром чувствовал в нём зверя, опасного зверя. Сейчас – ласкового и послушного. Этот человек чётко знал, в каком времени живёт. Что оно, это время, может дать ему, а что он – ему, времени. Чёрный Яков к моменту этой поездки успел побывать с чрезвычайными функциями красного комиссара в Закавказье, в Грузии, утонувшей в крови восстания, в поезде Троцкого, сеявшего ужас и смерть, – это уже после отречения Якова от эсеров, после ареста ЧК.

Он почти ничего не рассказывал о себе приятелям, только любил слушать их стихи. Его собственные опыты в этой области были скромными, но ему нравилось чувствовать себя

поэтом, нравилось быть в их среде – будто перерождался заново, играл иную роль, чистую и возвышенную. Кто знает, живи он в другой век, был бы он героем? Сергей смотрел в его лицо и смутно угадывал нечто страшное, неизъяснимое, что таилось в нём...

Вошёл Толик. Бросил небрежно, будто невзначай:

– Зинаида здесь.

– Здесь?!

Ростовский вокзал. Сергей вздрогнул, но не дёрнулся. Пожал плечами. Ну и что?

– Иди к ней, она звала, – рассмеялся Толик. – Она с ребёнком, твоим сыном. Поезд – на соседних путях. Последний вагон.

Сергею идти не хотелось. Снова жалобы, упрёки, глупая нежность, снова – обвитые руки и его боль. Тряхнул непокорными кудрями, пошёл.

Встретила его просто, без слёз, без слов. Вдруг будто совсем взрослая, его Зинаида. Хлебнула, поди, лиха. Развернула молча белый кулёчек. Новорождённое дитя расплакалось, задрывало крошечными ножками.

– Вот. Наш Костя.

Сергей смотрел, смотрел. Отвернулся. Его сын? Обронил холодно:

– Чёрный. В нашей семье таких не бывает...

Дыханье у Зинаиды перехватило от удара, словно под сердце ножом. Ни слова не сказала, плача, заворачивала вдруг сорвавшееся на крик дитя. Сергей ушёл. Выбежала из вагона, долго смотрела ему вслед, как шёл по рельсе, беспечно балансируя в воздухе руками...

Персия! Его мечта. Ему повезло с Яковом, которого направили комиссаром в Гилянскую Советскую республику, что на севере Персии. Слово-то какое прекрасное! И перст, и персик, и пери. И та же синь, что в волшебном слове «Россия». Роса, сила. Или, как говорят неграмотные, но впитавшие мудрость веков простые люди в русских глубинках, – Расея. Радость, свет сеющая.

Небо в Персии и впрямь оказалось синим, солнце – белым, люди – по-восточному гостеприимными. Восхитили женщины. В чадрах они умудрялись казаться ещё прекраснее его разгоряченному воображенью, чем если б, как северянки, не таили своих лиц. А как изысканно они двигались! Неторопливо, будто плыли. Одно покачивание их бедёр сводило с ума. Веками сжимаемая суровым кулаком женственность вырывалась через лукавство глаз, через прелесть увитых кольцами рук, через музыку голоса, всю ту потаённую игру, с которой персиянка может делать с мужчиной всё что хочет...

Тихие селенья, увитые виноградом навесы, раскидистый инжир в каждом дворе. Сергей читал там свои стихи. Увы, с женщинами общаться незнакомцу нельзя. Зато он с лихвой был вознагражден мечтами. Всей той атмосферой арабской сказки, что оживёт в его стихах спустя несколько лет, когда вместо ласки ажурного солнца сквозь виноградную листву будет пылить и колоть сердце лютая метель. Именно тогда он «вернётся» в Персию. Не сердцем, а только пером.

Сейчас же ему было сладко и томно в чужом, незнакомом доме. Солнце во всем, в его расслабленных жилах и крови – тоже. Так вот почему жизнь здесь столь нетороплива. Разве здесь мыслима буйная тройка, рассекающая жгучий, ледяной воздух? Потому так плавна и величава походка местных женщин. Вот если б не чадра! Как-то раз одна молоденькая персиянка, случайно проходящая мимо, мгновенно оглянувшись вокруг и никого не увидев, подскочила и запустила пальцы в его белые кудри. Трогала, смеялась: настоящие ли?! Смущённый, очарованный стоял Сергей, не в силах ни слово вымолвить, ни двинуться. Девчонка убежала, смеясь.

Чай, красный чай – из уважения к далёким гостям. Станный напиток, будто погружающий в себя, поднимающий с самого дна души диковинные мысли. Именно здесь Сергею

впервые пришло в голову, что кружение жизни вокруг него все ускоряется и ускоряется. Вот и эта встреча с Зинаидой – будто была и не была. Его сын? Будто после встречи с тем старичком, что подарил ему перстень, всё больше событий, всё больше людей вокруг, подобно неудержимому водовороту, что тащит его за собой. Что же с ним будет?

Яков растолкал его. Он уснул. Чайханщик счастливо улыбался во весь рот гнилыми зубами. Сергей понял: утомился он от Персии. Слишком много красок, солнца и чудо-чая. Воздух Персии – как хмель, прозрачен и напоен ароматом ядовитого олеандра. Ночи – звёздно-мотыльковый рой. В Россию! Домой!

Чёрный Яков остался там – до времени. Как приказало ему советское руководство во исполнение идеи мировой революции. Ему, чёрному псу нового режима, не страшен яд чужого воздуха, потому что убийцам вообще не страшны глупые фантазии поэтов.

Убийство как суть личности, полностью, безгранично раскрепощающее её, дающее свободу взгляда, слова и поступка, ставящее *над* миром, – вот та особая, чёрная эманация, то чёрное обаяние, которое так притягивало Сергея в Якове и которому он не мог подобрать определения...

Дерзкого убийцу немецкого посла, держащего в кармане наготове пачку расстрельных листов с пустыми графами для фамилий, что могло его остановить? Пуля. Во всяком случае, не поэтический бред.

Исида обожала своего первого гения, отца маленькой дочки. Когда его рядом не было, она мучилась нещадно самой ужасной, самой мучительной ревностью, какую только можно себе вообразить. Не могла уснуть. Видела его улыбающимся другим женщинам. Видела его, объясняющего суть своего искусства. Его, обнимающего, ласкающего другую. Его, пленительного, очаровательного, забывшего «невыносимую Исиду».

Кто лучше её знал, что сексуальный аппетит Тедди неистощим? Он был подобен заведённой пружине, раскрывающемуся цветку, и с каждой новой связью он становился всё более изысканным и утонченным. Зная мощь своего темперамента, а также цену себе, верил: в любви, пусть даже кратковременной, исток всех его творческих свершений. Стоит только перелить почерпнутую силу в гениальную идею... Он мог работать часами, сутками напролёт. Придумывал новые декорации, рисовал, зачеркивал, представлял проекцию совершенно нового, того, что ещё никому не удавалось увидеть. Однажды он создал сцену, которая давала полную иллюзию бесконечной перспективы, пирамидальной необозримости зала. И в этом зале выступала великая Элеонора Дузе. Исида смотрела зачарованно. Ком в горле перехватил дыханье. Было страшно. Только Дузе и зрители. Актриса молчала, просто молчала. И вдруг Исиде стало казаться, что Дузе начала расти. Буквально, на глазах, пока не достигла ростом самого потолка. Такова была сила её игры и её харизмы. Без единого слова! Исида шептала про себя в экстазе: «Если когда-нибудь, хоть в конце жизни, вот так же...»

В обыденной жизни Дузе нелепо одевалась, ходила в вечно перекошенной юбке и кособокой шляпе, была простой, милой, глубокой, как все гении, и скромной.

Любовь Исиды к её Тедди уже не была волшебством, как вначале. Он не ждал каждой встречи с ней, как когда-то. И никогда больше он не будет писать ей таких горячих, жгучих писем. Любовь стала для Исиды непрерывной душевной мукой. Что бы она ни делала, Тедди стоял перед её глазами. Коварный, непостоянный, пленительный и страстный. И чужой! Исида знала, что он не однажды ездил в Лондон к своей бывшей возлюбленной, скрипачке, страстной католичке, матери троих его детей. Вот – родила ему ещё. Чуть ли не одновременно с ней, Исидой. Тед всегда возвращался к Нелли после всех приключений и любовей. Исида страдала ужасно. Все демоны ярости и отчаяния терзали её. Она понимала, что её ревность безобразна, но ничего не могла поделать с собой! Ей невыносимо было знать, что огонь Теда изливается на кого-то ещё. Ей стало безразлично, нравится ли публике её танец,

как она выглядит. Между тем это было важно. От этого напрямую зависели её доходы. Увы, гений Тедди не приносил баснословных денег. Кроме того, он должен был содержать всех своих детей. Кто давал ему средства? Исида. Выбываясь из сил, не оправившись после родов, колесила с выступлениями по Европе. Как нарочно, ей не везло. Иногда всю выручку сжирала оплата гостиницы, помещения и импресарио. А Тедди нужны были деньги на его проекты и его детей! Исида безмерно любила его. А он почти перестал обращать на неё внимание. Исида разрывалась между танцами, Тедом, маленькой дочкой и едва воплотившейся мечтой – школой танца... Однажды она поняла, что очень устала. Нервные боли терзали её. Нужно было что-то менять, а она не могла. Приходила в отчаяние от одной мысли о расставании со своим первым гением, дошла до безумного состояния – и с Тедом быть не могла и без него не жизнь. С ним – упреки и неудовлетворённость, без него – ярость и ревность. И – увы – пустой банковский счёт. Либо он – и его искусство, либо она – и её танцы. Снова Исида стояла перед выбором, тем же самым, что и с Ромео. Но она помнила слово, что дала себе тогда...

О! Не в силах сказать Теду «прощай», она сказала: «Я прощаю». Пусть он ездит к своей скрипачке в Англию, пусть. «Будь с теми, кого любишь, но приезжай, приезжай, приезжай...» – заклинала она его. Что ей стоило такое решение и такие слова?! Бессонных ночей в зелёной муке и чёрной ревности, когда знала наверное: он ласкает другую. Загнанный её безмерной любовью в тупик, Тедди вынужден был ретироваться и попробовал отбелить, оправдать себя хотя бы в своих дневниках. Но можно ли скрыть двуличие от самого себя?

У Исиды была мечта, великая мечта всей её жизни.

Да, её танцы были востребованы публикой. Любая страна готова была принять её с концертами. Если б она видела себя только танцующей в одиночестве на подмостках! Кто знает, как бы тогда сложилась её жизнь? Наверное, достигнув апогея славы и заработав кучу денег, остаток жизни она почивала бы на лаврах. И ничто б не мучило её, ничто б не жгло. Но у Исиды была мечта.

Главное: она видела её зримо, знала, как её воплотить!

Эта мечта была – танец-оркестр. Девятая симфония Бетховена. Сложнейшая вещь. Как её ругали критики в России за то, что воплотила в движение эту музыку! Кричали: позор! невозможно! надругательство над святыней! босячество! Но мечта была. Чтоб на сцене вместе с ней танцевали другие девушки, её ученицы, у каждой из которых – своя партия, своя тема, как у инструментов в оркестре. Исида понимала: только так можно отразить всю сложность великой музыки, передать все оттенки её чувствования. Она видела этот танец каждый вечер перед тем, как уснуть, и это было мучительно. Казалось бы, всё это можно достигнуть, но – невозможно осуществить. Потому что не было в мире танцовщиц, подобных ей. Никто не умел переливать, переплавлять в себе музыку, как это делала она. В ней, как в печи, соединялась мысль, рожденная музыкой, её чувственность и ритм. Где же взять таких танцовщиц? Только воспитать, выпестовать самой! Стать им матерью, наставницей, кумиром.

У Исиды мысль никогда не расходилась с делом. Она была не из тех людей, которые способны годами выжидать случая. Свою жизнь надо ковать самой – здесь и сейчас!

Она сняла большой дом-студию и дала объявление о приёме детей в школу танца. Сорок кроваток ждали своих маленьких хозяек. Оформила всё сама, в античном стиле. Дети должны расти в атмосфере красоты! Она научит их видеть солнце и небо, слышать шелест ветра и волн, полёт пчелы и птицы. Всего-навсего: то, что было открыто ей самой когда-то давно, во Фриско, открыто вечной океанской волной, набегающей на песок... Она скажет им: «Дети! Поднимите руки к небу! Пусть в каждом вашем движении будет полёт и любовь...» Её дочь, её маленькая девочка, будет её лучшей ученицей.

С Тедом, с её первым гением, надо было расстаться. То есть скорее принять его уход. Но как?! Одна эта мысль приводила Исиду в полное отчаяние. Ответ дала сама жизнь. Школу надо было содержать, дочку – тоже. Гастроли в Россию.

В последние перед поездкой дни в её гримёрку вошел молодой человек. Высокий голубоглазый красавец. Он всё время улыбался. Счастливое выражение будто приросло к его лицу. Он сказал с порога:

– Меня зовут Пим.

Исида удивленно подняла брови:

– И что? Вы артист?

Пим с возмущением отверг это предположение. Он был прост, безыскусен и откровенен в своих стремлениях. О чём сразу же и сказал честно Исиде. Ну и нахал! Она обомлела и...

– Вы поедете со мной в Россию, Пим?

С ним Исида поняла, что такое чистая радость близости – без обязательств, без любви, без надежд и всей той чепухи, которая обычно связывается с любовными отношениями. Просто радость. Пим весь и был – счастливый миг, сияющий, юный, светлый. Короткий и весёлый миг, как его имя – Пим! Что из того, что в его багаже из двадцати чемоданов – уйма галстуков и меховых жилеток? Что из того, что он любит мужчин не менее, чем женщин? С некоторых пор она поняла, что ей нравятся бисексуалы и геи. Особенно геи. Они нежнее, умнее, наконец, просто красивее brutальных мужчин. Красота – женского рода. Пим! Что за чудо! Прекрасный любовник, совершенно не пекущийся о смысле существования. Зачем он жил? Чтобы улыбаться, только чтобы звучать и петь, как поёт пустота флейты...

Когда они вернулись, она просто помахала ему рукой на прощанье. Чтобы никогда больше не встретить. От любви к Теду она вылечилась.

По Руси шли легенды – одна другой страшнее. Чаще всего рассказывали о поезде, налетающем неожиданно, как вихрь, начинённом до верха пулемётами, пушками и даже, вроде, с самолётными машинами при нём. В команде – латышские стрелки, жестокие наёмники-убийцы. Поезд был бронированный, неприступный. Красный поезд. Главарь – сам наркомвоенмор Лев Давидович Троцкий. Ездил он на своём поезде с севера на юг и с запада на восток. Мог появиться где угодно. Обычно курсировал вдоль фронтов. Ещё рассказывали, что есть там специальный вагон, до отказа набитый реквизированными драгоценностями.

В чём было главное назначение этого монстра на колёсах? Наводить ужас на непокорных, предателей, уничтожать всякую контру на корню. Гильотина революции. Походный трибунал, действующий быстро и безжалостно. Неожиданная подмога частям Красной армии. Ещё была задача – идеологическая. Одних только агитаторов в составе поезда было тридцать семь человек. Вооружённых до зубов, как и все остальные. Издавалась даже собственная газета «В пути», а сочинял её знакомый Сергея, тот самый Жорж Устинов, что чуть было не убил художника Дид Ладо.

Уже в 1920-м в личной охране Троцкого оказался Чёрный Яков. Бывший эсэр, отрёкшийся от своих старых взглядов. Как он сам рассказывал, в марте восемнадцатого его выловили петлюровцы, пытали до полусмерти, вытащили все зубы и выбросили умирать на рельсы. Было ли это правдой? Может, его хотели казнить эсеры за предательство, за перебежку к большевикам? Просто покушение не удалось. Возможно, правдой было всё в удивительной, чёрной жизни авантюриста и убийцы. Не таков был этот человек, чтобы просто так сдохнуть. Бедный, вечно голодный еврейский мальчик, из милости принятый в одесскую школу – Талмуд-Тору, он знал, что такое бороться за себя. Однако после ранений и пережитого ужаса близкой смерти у него что-то поломалось в голове. Троцкого он боготворил до конца дней, за что и поплатился, наконец, жизнью...

А в 1920-м с жизнью расстались несчастные крестьяне, взметнувшие ветер голодного протеста в Поволжье. В подавлении мятежей участвовал и Чёрный Яков. Человек, до конца понявший, что убить – это просто, сделавший убийство сутью своей жизни, её романтическим приключением...

Чёрный поезд – чёрная смерть.

Сергею показывал целую пачку расстрельных листов. Похвалялся.

– Скажи, Сергун, есть у тебя враги? Любую фамилию впишем! Говори! Люблю тебя! – уж больно расчувствовался Чёрный Яков после стихов о собаке.

Сергей вздохнул.

– Есть... Давно его пора... Пиши: имя – Сергей Александрович, фамилия...

Яков расхохотался.

Худо Сергею было, очень. Ходил, как зверь загнанный, из угла в угол в квартирке на Богословском. Толик ушёл куда-то. Ваня Грузинов следил за ним глазами, следил, а потом устал: «Сядь же, боже мой! Что случилось?»

Закрыв лицо руками. Сквозь пальцы быстро покатались слёзы. Разве расскажешь, что самая чистая любовь его жизни стала прахом земли, что умерла его Аннушка?! Он помнил её умной, строптивой девочкой, их детские игры, как бегали к Оке, взявшись за руки. Когда знаешь: разомкнуть руки просто невозможно. Так и ворвались в дом отца Ивана: разбейте наши руки! Клянёмся в верности друг другу! Если кто из нас слово нарушит, того розгою бить!

Она первая нарушила – влюбилась отчаянно, а Серёжку забыла. Для неё то детское чувство было просто ребячеством. Уже после, обжёгшись, расставшись с этой своей «преступной страстью», полюбила Володю, снова сказав Сергею своё ласковое «нет». Он ездил к ней в Дединово, каждый раз тайно. Однажды, летом девятнадцатого, привез стихи, ей посвящённые, и недавно вышедшую «Голубень».

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

Надписал книжку, да ошибся в её новой фамилии, переправлял. Что нашла она в этом Володеньке? Да и любит ли? Уж больно любовь её тиха, как спокойна реченька. Рассказала ему тогда странный случай, повергший её в суеверный ужас. Сейчас, когда её не стало – унесла родовая горячка, – вспоминал с особенным трепетом: знало её сердце, что близок конец. Проснулась в июле, в четыре утра. Белая, чудесная роза, что подарила мужу накануне, вся осыпалась внезапно совершенно. «Лепестки распались, покрыв собою пол, – подобно снежной холодной пелене, заглушающей собою много жизней...» Она собрала несколько лепестков и положила их в конверт.

Сказал другу Ване, что не полюбит никого уже так, никогда! Слёз Сергей не стеснялся. Они стали тише. Осыпалась его белая роза, его «девушка в белой накидке».

Сердце Сергея билось гулко. И почему это ребята такие спокойные? Шутят, ёрничают. Да и название этого вечера несерьёзное: «Суд над имажинистами». Разумеется, будет выступать много поэтов, не они одни. Разумеется, будут «бить». Футуристы, экспрессионисты, акмеисты, ничевоки, конструктивисты, фуисты, символисты. Имя им – легион. И они – имажинисты, «рыцари образа», – не самые популярные.

Большой зал консерватории.

Не от страха перед соперничеством или критикой билось, заходило сердце. Люди, простые слушатели – вот кто повергал Сергея в трепет. Как-то они встретят? Знал о себе доподлинно: самое страшное – сделать первый шаг. Лучше он ничего говорить не будет. Все эти теории на самом деле – игра детская. И язык у него костенеет прям, когда он выходит в зал, когда видит устремлённые на него, ждущие, алчущие глаза. Уж он лучше сразу – стихи. Стоит начать...

Зал гудел растревоженным ульем. Ряды волновались, как бегущие волны. Холодно и не топлено – пар изо рта.

Начались выступления. Один за другим выходили поэты. Сергей прислушивался. Всё не то, не то. И как им в голову приходит такая напраслина?! Всё пустое. Гнильё и поза. Зал бесился и улюлюкал. Кричали его, звали на сцену. Сердце билось ещё сильнее.

Мощным шагом вышел на публику его главный противник. Походка – колосса, фигура – восклицательный знак в истории. Подбородок квадратный задрал к люстре. Рот сжат, сгусток воли. Поднял правую руку вверх: зал утих. Зычным голосом, как из рупора, вещал свои рубленные рифмы. Не стихи любимые, выстраданные, измученной души дети, рождались у него, а – гвозди в крышку гроба старого мира. Махал строчками, как молотом по наковальне. Никакого почтения к языку русскому, к напевности его, к традициям... Сергей морщился. Зал неистовствовал в восторге. Свистел от избытка чувств, орал: «Ещё! Ещё!!!»

Сергею сделалось почти дурно. Хотелось свистнуть, да так, чтоб публика очнулась от дурмана этого красного, чтоб поняла хоть что-нибудь. Да разве свистом здесь дело поправишь? Слепящим светом своей фамилии его противник застил им всем глаза.

Ма-я-ко-вский! Ра-внение нале-во!!!

Никто не обращал внимания на холод. Сидели в тулупах, в валенках, шапках. Курили втихомолку, в рукав. Вроде и приличия соблюдены, и нервы придержаны. Творилось нечто невообразимое. Тёмная Москва, без фонарей, в грязи и голоде, и вся, казалось, собралась здесь, сейчас и сегодня, чтоб насытить душу пищей слова, нового слова. Как же ухватить эту публику, не отпускать, как заставить слушать и понять ту боль, что терзала, жгла его и мучила? Сергей сжал зубы. Они стучали. Зал давно звал его. Выглянул тихонько. Во втором ряду – всё та же зеленоглазая, нахальная девчонка. Орёт его фамилию, смеётся с подружкой. Давненько им пришлось прийти – место занять! Слава богу, у него есть поддержка. Чуть отлегло от сердца.

Имя его, как шелест ветра, летает в зале. Славное оно, чистое. В нем, как в «России», – синь. И сень листвы, и сени. И осенённость. А ещё – осень, ясень, высень...

Все «рыцари образа» уже декламировали свои стихи. Вадим скаламбурил: «Поэзия без образа – это безобразие!»

Теперь его очередь! Ноги – из ваты. Теребил пальцами сердоликовый перстень. Толик тихонько подтолкнул его. Ему никогда не была понятна эта непростительная робость. Поэт ты или кто? Бери их за горло!

Толик подхватил его пальто, сброшенное с плеч. Под ним – серая курточка с такими же брюками, белая сорочка, бабочка. Вокруг – ореолом – холодный прокуренный воздух.

Вышел. Руки сцеплены за спиной для храбрости. Ах, сколько раз он уже прошёл через горнило этого испытания, всё равно привыкнуть – никак...

Зал почти замер. Дрожь рождалась где-то в груди. Дрожь от боли. Он просто раскрыл рот – её выпустить. Голос – сильный, с переливами, чуть глуховатый на самой высоте стиха, как бы замирающий, полился строчками. Слово, которое хотел выделить особо, растягивал. Со щёк схлынул румянец, белизна покрыла их. Уже на второй строфе правая рука выпорхнула вверх. Она будто жила сама по себе, отвечая даже не ритму, а внутренней сути читаемого.

Перед глазами – тот самый жеребчий разбег, летящие навстречу дали, ветер в лицо, открытая дверь поезда. Смешной дуралей! Ах, как хотелось плакать тогда, потому что он всё тогда понял. Главное – понял про себя. Не догнать жеребёнку железного коня, как ни старайся, как ни напрягай стройных ножек и ни рви горячего сердца. Мощь машины задавит. Что их поезд? Он – сила молодого Советского государства, сила железа и угля, бездушная сила всего нового, пришедшего в его избяную, молитвенную Русь. Вот жеребёнок бежит, прекрасный в своей юности, закидывая некрепкие ещё ножки высоко к голове. Он ещё верит! Он догонит!!! Закат падает на его пляшущую гриву красным цветом. А его, Сергея, сердце обливается кровью. Потому что умрут предания старины глубокой, исчезнет конёк на крышах наших изб, голубь у порога, петухи на ставнях, сказки и колядки, потому что забудут русские русское Слово, потому что опустеют поля и хлева, погаснет свет в избах. И будут торчать заброшенные трубы из печек, как верблюды кирпичные. Никогда уже не найдёт его душа покоя. Не сможет она жить в бетоне и железе, как живёт в них душа Маяковского. Если глаза его не окунутся в синь Оки – не сможет он на мир смотреть. Ока – око... Посереют его очи. Это он, Сергей, – бегущий из последних сил жеребёнок! Это его сердце рвётся на части!!!

Зал молчал. Вряд ли всё понято до конца. Видно одно: боль. Настоящая, звонкая, как пощёчина. Нежная, как запах васильков в поле. То ли рыдать хочется, то ли кричать. Зал взорвался овациями. В них утонули железные дали главного поэтического врага Сергея. Такой бури этот зал ещё и не знал.

Серый лицом, с комом в горле Сергей стоял перед ним. Поняли они? Умрёт избяная Русь – умрёт и он...

Ему кричали: «Ещё!!! „Хулигана“!!!»

Провёл рукой по светлым кудрям.

В одно мгновение стал иным, стремительным, резким, как ветер. Только лицо осталось бледным. Зеленоглазой влюблённой девчонке во втором ряду, да и всем казалось: срывает порыв жёлтые листья, крутит их вихрем, то ласково, то неистово. Он сам – как непокорный ветер. Цветут его глаза под жёлтой шапкой волос. Он – светится. Юный, ясный. С ним легко и просто, потому что кипит в нём жизни чистый ключ, белой черёмухой брызжет. Куда он его приведёт? На разбойную широкую дорогу? В поле – одиноким деревом стоять? Утонуть ли в песнях своих? Или ветер времени разметает его слова? Только он не подчинится ничему и никому. Будет как ветер свободен и вечен!

Что началось после его чтения! Люди повскакивали с мест, бросились к эстраде. Сергей стоял зачарованный, смотрел. К нему тянулись глаза и руки. Этим сумасшедшим ветром подхватило и зеленоглазую девчонку. Он видел её, плачущую, машущую ему. Подумал: вряд ли понимает, что делает. Просто со всеми вместе.

Вот она, его судьба. Эти жадные руки! Вот так! Вдруг подумал, прямо здесь, на сцене, что такого всенародного обожания у него никогда б не было, если б остался старый мир, если б сидели по салонам «ананасы в шампанском»...

Толик хлопнул его по спине, когда он ушёл со сцены: «Молодец, брат! Отстоял „рыцарей образа“! Вот это класс!»

Сергей слабо улыбнулся. Он чувствовал совсем иное – опустошение, облегчение. Боль ушла, заменилась светом. Хотелось радоваться, теперь – навсегда. Надо будет ту девчонку в кафе своё пригласить...

Однажды Исида приснился сон. Она – древняя танцовщица, но не в Греции, а в Риме. Всё иное, не такое простое и ясное, как у греков. Одежды на людях, да и на ней – белоснежные. Как у Лукреция: «На ногах умашённых сикионская обувь сверкает...» И всё вокруг – пышное и пафосное – империя. Что ж такое знакомое ей чудится в них во всех? Ну

да. Похожи на американцев. Уверенные в себе, холёные, спортивные. Только речь – ожившая латынь. Их особая слабость – грандиозные зрелища. Вот и сегодня праздник Нептуна. Огромное озеро. Вокруг – зрители. В отдалении – императорский шатер. Он представляет собой возвышение, укрытое от солнца белыми холстами, но открытое всеобщему обзору и ветрам. Жаркий день. Плавится знойное небо, стекая голубизной в озеро. Особенно приятно быть возле воды. Удивительная выдумка – будто бы настоящее сражение между кораблями разыгрывается на озере. Только корабли вдвое меньше оригиналов. Она, Исида, прячется на дне одной из лодок. Они победили! Крики, восторг зрителей. Её очередь выступать! Она выпрыгивает на палубу: вдохновенная, чарующая, сильная – символ победы. Кружится в безумии и восторге. Мельком видит пурпур одежд императора и его жены, колыхание опахал.

Остальные – в белом, как она. Необозримое сверкающее поле зрителей. Лодку качает. Удержаться! Знает: если сорвется перед грозными сиятельными очами, если не умилистит владыку, ей конец! На неё устремлены тысячи восхищённых, возбужденных глаз. Она справилась блестяще. Овации были ей наградой. Владыка мира кивком поощрил её...

Но это ещё не лучшее в этом празднике! Звучат кимвалы и фанфары, тимпаны, сistrы и трубы. Замирают все. Она – тоже. Тяжело вздымается грудь после танца. Но она должна стоять неподвижно, как статуя, простерев руки к центру озера.

Гладь вод разрывается медленно. Плавно из глубин поднимается к небу гигантская статуя Нептуна. Вода стекает с неё ручьями. Она очень большая, метров пятнадцать высотой. Время замолкнуть всем и вся. Лишь один инструмент звучит: водный орган, гидравлос. Нептун держит у рта раковину, он трубит в неё...

Исида проснулась. Ощущение чудесного сна не покидало её. Вот так надо танцевать: не на жизнь, а на смерть. Будто это последний танец. Статуя – чудо! Чей инженерный гений заставил её подняться со дна? А может, талант её? И кого-то эта статуя напоминает... Статую Свободы! Америка. Там – мама.

Много лет прошло с тех пор, как они были духовно близки. Где же те отчаянные авантюристы, прибывшие из Фриско в Чикаго с несколькими долларами в кармане, но с ворохом амбиций? Мать всегда была рядом, пока было трудно, пока они, её дети, неоперившиеся птенцы, нуждались в её надёжном крыле. Это время ушло безвозвратно. Её словно подменили с тех самых пор, как к Исиде пришёл настоящий успех. Вроде сделала всё, чтобы дочь стала тем, кем стала. Так почему же она недовольна? Вечно брюзжит, ругает Старый Свет, порядки, мораль, даже еду. Она уехала. Не она не нужна своим детям, а дети теперь – ей. Потому что не надо их опекать, не надо быть сильной и одинокой, наравне с целым враждебным миром.

Дети, её любимые девочки! Сколько радостных минут пережила Исида, когда давала им уроки танцев! Собственно, способ её обучения был далёк от чётко разработанной методики. Исида была импульсивна, она не признавала долгой муштры каждого движения, как это практиковалось в балетных школах. Да и не нужно этого! Потому что не столь важен рисунок танца, сколь дух, трепещущий в нём. Ох уж эти балетные школы! У Исиды сердце кровью обливалось, когда она увидела в России, на родине самого классического из всех форм балета, многочасовое стояние на мысках бедных, измученных крошек, маленьких страдалец, которых готовили в балерины. Их уверяли, что иначе они не смогут танцевать. Какая чушь! Всё, что нужно сказать детям: смотрите на природу, вокруг себя. Как колышутся ветки, как летит птица, как падает кленовый лист. Рисуйте, слушайте и смотрите! Всё! Дайте детям свободу! Потому что, если их не ограничивать, они абсолютно раскованны внутри, изначально. Своих девочек она учила именно так.

Однажды, ещё перед расставанием с Тедом, когда силой своей любви она простила ему всё и приняла, как есть, она ворвалась в класс и спросила:

– Скажите, дети, что самое великое в жизни?

– Танцевать! – слышались голоса.

– Нет.

– Музыка, успех?

Исида покачала головой.

– Дети! Самое великое в жизни – любить!

И сразу ушла.

Наставница, присутствующая на уроке, покраснела. Главное в те времена ханжеской морали было удачно выйти замуж, а не любить. Она постаралась завуалировать слова Исиды, представив их как библейскую истину. Но девочки не поддались, они поняли Исиду так, как она того хотела.

Исида часто танцевала для своих воспитанниц, стараясь показать, *как* нужно слушать и слышать музыку. Пусть они повторяют её движения вначале. Главное: она должна донести потомкам своё открытие – танец-эмоцию, танец-мечту, танец-экстаз. То воскрешение истинного жеста, которое было ей открыто в Лувре самой Афродитой. И она увидит уже через несколько лет, как великая симфония бессмертного Бетховена станет наслаждением не только для уха и воображения, но и для глаз.

Да, но искусство – производная любви, её вечный раб.

Увы. Школа отнимала слишком много средств на её содержание. Помимо обычных расходов, нужно было ещё оплачивать стоимость дома в Германии. В месяц выходило около трех тысяч марок. Исида стала давать концерты вместе со своими юными ученицами. У них был колоссальный успех. Несмотря на это, они всё же нуждались. Тогда Исида кинула клич о помощи её школе, и отозвались очень многие: банкиры, художники, меценаты. Однако их пожертвования были разовыми. С каждым месяцем Исиде было всё труднее и труднее обеспечивать беззаботное существование своим пташкам.

Россия! Сколько раз у неё был там триумф? Почему она всегда бежала в эту страну, когда ей было по-настоящему плохо?

На этот раз Исида взяла с собой своих девочек, в тайной надежде выпросить денег на свою школу.

Она снова увидит Станиславского. Однажды она уже пыталась покорить неприступного русского. Ах, как она хотела его! Исида всегда действовала не так, как было принято. Принято: мужчина делает предложение женщине. Какая чушь! Исида докажет миру: женщина выбирает себе мужчину! Вот только этот непокорный, прекрасный, гениальный русский... Он аплодировал ей во время её первого выступления в Москве, когда простая публика сидела удручённая и враждебная, когда ей свистели. Станиславский безошибочным чутьем великого артиста и мыслителя увидел с первого мгновенья, как только Исида вышла на сцену: перед ним новый гений, новая эпоха, целый новый мир. Он ещё только прозревал все выси и дали, что открыл ему позже танец Исиды. То, что много лет спустя во всем мире, включая Голливуд, будет именоваться «методом Станиславского». Или даже, увы, обезличенно – «методом».

Он видел: Россия притягивает Исиду. Что она ищет здесь?! Успеха, славы? Да, но почему так задумчив её взгляд, когда она смотрит в белую даль снегов? Ей надо показать настоящую Россию. Быть может, Исида поймёт её тонкое, различимое лишь одним сердцем очарование, её неброскую красоту. А он... Он поможет уловить тот незримый дух, что ищет её гений.

Станиславский предложил Исиде поехать в глубинку, в Вологду, в Рязань. Она согласилась сразу.

– Что есть Рья-зань?

– Увидишь, – усмехнулся тот.

Сани мчались шибко. Исида, укутанная, смотрела на профиль Станиславского. Зачем он везёт её куда-то? Рья-зань. Восточное какое-то слово. Она-то думала, он флиртует с ней. Не тут-то было.

Внезапно сани остановились. Станиславский помог ей выйти.

В ноздри ударил морозный воздух. Дух захватило от раскинутого вокруг простора. Бескрайние белые поля с кромкой темнеющего вдалеке леса, одинокие вёглы вдоль дороги. Колеи, колеи. Крик далёкой птицы. Никогда Исида не видела такого огромного, необозримого, почти голого пространства. Оно было трогательно обнажённым, простым и таким настоящим и диким, что слёзы выступили на глазах.

– Холодно и ветер, – заметил её слезинки Станиславский.

В горле был спазм. Она и сама не знала почему.

– Знаешь, – сказала, – у вас тут свобода. Много места... Нет, не то, не то... А если пойти вон туда, – она махнула рукой, – куда придёшь?

Станиславский рассмеялся.

– Если очень долго идти, к Волге-матушке, пожалуй.

Он предложил ей снова сесть в сани. Она не хотела. Стояла и стояла. Не могла оторвать глаз от горизонта. Станиславский продрог.

Она смотрела вдаль, и нечто странное, тревожное поднималось в душе. Будто она здесь, а на самом деле – нигде. Потрогала сказочную, искрящуюся ледяную скорлупу, обернувшую прутьи вёгел. Льдинка обожгла пальцы. Особое время – скоро весна, но кругом снега. Ещё совсем немного – и они ринутся потоками с полей в ручьи и реки.

Воздух пах влагой, старым деревом полозьев, соками земли. Её подспудное дыхание Исида ощутила.

Когда наконец села в сани, начало смеркаться. Где-то вдали слышался протяжный вой. Сказала:

– Я бы ехала так вечно... Чтоб на эти поля смотреть, – и посмотрела ему в глаза глубоко.

– Ого! Исида! А ты – русская, – рассмеялся. – Надо тебя с каким-нибудь крестьянским поэтом познакомить. Из тех, что живут в своих избах, бают песни народные. Знаешь, песни наши – живые, как твои танцы. И вся Россия – живая... Слышишь? Здесь, в Рязани, есть старичок один. Не поймёшь, конечно, о чём, но просто – услышишь. Да, море тоже живое, но оно не умеет спать и прятать свою нежность, как умеет это наша природа. Знаешь, как весной каждая канава любит мать-и-мачехой...

Всё ей было странно на этой земле. Город, который она и назвать таковым не решилась бы, – патриархальный, древний, в черноте бревенчатых дворов таящий чуждое и пугающее, – вдруг раскрывался великолепным белокаменным храмом, настоящим шедевром, будто растущим из грязи обычного людского жилья. Исида не понимала: почему живущие так скудно строят такие храмы?! Или зачем церкви стоят одинокие, в поле, там, где нет дорог, людей, нет ничего вообще в округе на сто вёрст? Что в этих монастырях делают люди? Почему идут к ним паломники через всю Россию? И почему ей хочется здесь остаться?!

Что бы она чувствовала тогда, если бы знала, что где-то здесь, совсем рядом, живёт её любимый мальчик, её третий гений. Ему – всего двенадцать. Он бегает в поля, сидит над Окой, читает, слагает свои первые стихи, гладит коров, страдает от непонимания окружающих его людей и трепещет от разрывающей боли красоты своей родины.

Ошеломлённая, возвращалась она в Москву. Нет, не о том она мечтала, когда ехала со Станиславским. Она-то думала, это будет романтическая прогулка...

Станиславский же остался доволен. Ай да Исида! Что за душу Бог вложил в это чудесное тело! Всё, всё поняла. Да она русская, ей-ей! Просто родилась не там...

Простая и безыскусная, отдавшая танцу всю себя, без единого остатка, Исида не казалась ему ни пошлой в своей прозрачной тунике, ни вызывающей. Так резвится дитя на лугу, когда его никто не видит. Прекрасное дитя – Исида. Ну как ему реагировать на её заявление: «Я хочу иметь от вас ребёнка! Он будет гением»? Смешно? Вовсе нет. Но как-то не по-христиански. И кем будет его ребёнок? С кем жить? С ней? А он?! Нет, нет и нет, милая барышня.

Станиславский был по-мужски дьявольски красив. Рослый, широкогрудый, осанистый, с крупными, выразительными чертами лица, с лёгкой сединой на висках. И – нечто тонкое, неуловимое, что Исида всегда чувствовала и знала безошибочно: он – гений!

В этот приезд в Россию Исида твёрдо решила завоевать его. Сейчас или никогда! Вежливый, внимательный, вдумчивый, часами выслушивал он рассуждения Исиды об искусстве. Она тоже много, много хотела понять в театральном таинстве. В конце концов, если она найдёт для Теда работу в России, это ещё может снова сблизить их, ну, хотя бы ради дочери. Образ водяной нимфы, что тогда танцевала Исида, всё жил и жил в ней, раскручивая бесконечную спираль-маятник под сердцем. Она не могла остановиться. Ей хотелось танцевать снова.

Была ночь. Станиславский сидел напротив. Прекрасный, как Гефест, с сильными пальцами, мощным телом, угадываемым под одеждой. Ах, эта нелепая современная одежда! Чей извращённый ум её придумал? Она полулежала, расслабленная, текучая, как вода, смотрела на него и думала: «А ведь он ни о чём таком и не помышляет, забыл он её желание?» Исида слушала, глаза её горели, а губы, чуткие губы готовы были рассмеяться в каждую секунду. Он был столь же подтянут и корректен, как если бы они были в обществе, а не в тишине её номера. «Станцевать ему?» Улыбалась мягко, призрачно, ни на секунду не переставая чувствовать себя нимфой. Вдруг поднялась, будто выросла, вытянулась, как пантера, и – резко, властно – провела рукой по его чудесному затылку. Ах, как загорелась! Поняла в секунду: как же долго она этого хотела. Поцеловала в губы – как статую древнего бога. Станиславский дрогнул. Он смутился. Вернул ей поцелуй – братски и христиански покорный. Исида поняла: всё. Больше ничего у них не будет. Никогда. Голова кружилась от отчаяния. «Он слишком основательно женат...»

Успех её выступления с детьми был огромный.

Исида обратилась к директору Императорских театров России с просьбой поддержать её школу деньгами. Увы, её затея провалилась. Ей надо было не менее пятидесяти тысяч марок в год на содержание школы. Что составляло тогда около десяти тысяч долларов. Что же делать?!

Как это всегда бывало, самые важные открытия её посещали именно в России. На этот раз это было понимание её нового танца. Уж не разговор ли со Станиславским дал ей толчок? И его отказ. Или ветер в бескрайних рязанских просторах? То родное, больное, что уловила она тогда, стоя посреди поля. Ей удалось за все эти годы выразить все оттенки радости, полёта духа, восторга, исступления, победы...

Шопен, Штраус, Мендельсон, Глюк, Вагнер.

Теперь настало время превратиться из эфирной нимфы в воплощение других, более ярких эмоций. Исида знала: она достигла того уровня мастерства, что у неё всё получится. Всё, что люди рисовали, пели, сочиняли, – всё это она может перелить в движение. Горе, боль и отчаяние – тоже. Главное: быть убедительной. Совершенно убедительной. Она подчинит своим телом даже смерть. Потому что она, как и её танец, – лишь инструмент в руках Афродиты.

Парижский театр «Гэтэ-Лирик» вмещал две тысячи двести кресел, и ни одно из них не пустовало на концертах Исиды. Критика захлёбывалась от восторга. Одним она напоминала Нику Самофракийскую из Лувра – потому что Исида заканчивала выступление на коленях, вытянув вперёд руки, с запрокинутой головой, так, что из партера она казалась обезглавленной. Другим – виделась воинственной Афиной из-за резких, решительных движений, наполняющих все её танцы. Наиболее запоминающимся был «Смерть и девушка», положенный на «Мазурку» Шопена. В нём драматургия резкого перехода от радости жизни к отчаянию и борьбе за жизнь, когда юная девушка понимает, что смерть захватила её в плен. Безумный страх, слом, попытка вырваться, удары смерти, хлещущие, как бичом, хрупкое тело, смятый цветок. Смерть, выраженная просто и безыскусно, безнадёжно и истинно, как это бывает. Плакали даже скептики.

В то время у Исиды было множество любовников. Она жадно, взахлёб пила все удовольствия. Вацлав Нижинский, звезда «Русских сезонов», мечта парижан обоих полов, тоже не смог уйти от её желания. Однажды она танцевала с ним в паре на каком-то вечере для бомонда. Нижинский в каждом изящном повороте тела, в каждом прыжке, будто зависающем в воздухе, был чудовищно эротичен. Исида видела: он победил тело, своё тело, оно наполнено чистым эфиром, отрицающим его земную суть. Позже Исида вспоминала, что тот танец с ним был едва ли не лучшим переживанием в её жизни, потому что более тонким, изощрённым, чем сам секс...

Однажды после концерта в «Гэтэ-Лирик» в Париже она сидела в своей гримёрке голая, без туники, вытирая струящийся пот. Её вызывали столько раз на «бис», что она сбилась со счёта. Сидела измотанная, почти бездыханная. Даже оркестр ушёл, а несколько сот зрителей всё никак не хотели расходиться. Уже без музыки, одна – крошечная фигурка на сцене в скупых декорациях и голубых занавесах – Исида сказала зрителям:

– Сейчас я буду танцевать вам свою жизнь...

Это было чистой импровизацией.

Люди видели: вот дверь. И все видели, что она – из железа. Или бронзы. Не из дерева. Глухая, огромная, неприступная дверь. Неодолимая, как рок. Исида отважно бросается на неё. Хочет сорвать её одним ударом, одним задором и смелостью молодости. Падает ниц, поверженная, перед неприступностью преграды. Упрямо возвращается, силы её растут, но дверь – всё так же неприступна. Снова она отброшена. Снова и снова, снова и снова... Её овладевают сомнения. Возможно ли? Зачем она бьётся? Зачем – голодна и вся в крови? Она молит судьбу, рок. Собирает все силы, все, что остались в ней, это её последняя попытка, это её битва – не на жизнь, а на смерть. Бросается – дверь подаётся, срывается с петель и наконец падает, поднимая вихри вокруг себя. Дверь Рока. Исида стоит над нею, вся – символ победы.

Вытирала и вытирала пот. Будто и вправду сейчас на сцене сражалась с судьбой. А что ещё она каждый день делает? Где ей взять денег на школу? Танец – эфемерен, как воздух. Растают её движения, что останется? Лишь память зрителей. Но и они – смертны. О, боги! Ей нужна её школа!!! Её мог бы спасти лишь близкий друг, если б он был миллионером. Подобно многим великим людям, Исида быстро получала исполнение своих желаний. Буквально: не успела она подумать о миллионере, ей доложили, что некий промышленник, наследник сумасшедшего состояния, просит её уделить ему пару минут. Быстро, быстро! Лучшее платье! Умыться! Где её расческа?

Когда он вошёл, она была спокойна, как гладь озера в солнечный день. «Это он!» – пронеслось в уме, едва увидела вошедшего. Протянула руку для поцелуя.

Второй её мыслью было: «Люэнгрин! Мой рыцарь!»

По легенде, сын Парсифаля, рыцаря Святого Грааля, отправляется в Антверпен на ладье, запряжённой лебедями. Завоевывает там сердце принцессы Эльзы и женится на ней, ставя условием, что она никогда не будет называть его по имени. Принцесса не выдерживает.

Музыкальная тема «Лоэнгрина», выстроенная Вагнером, всё звучала и звучала в ушах Исида, когда она слушала вошедшего. Он и впрямь напоминал средневекового короля: то ли Генриха Четвертого, то ли Франциска Прекрасного.

Высокий, около метра девяноста, белокурый, бородатый, он весь излучал силу и власть: каждым жестом, каждым словом. И ещё – надёжность. Будто стена. О чём же он говорит? Предлагает устроить её школу в его имении! А он? О, у него много домов! Просто детям будет хорошо в Ницце, у моря, на Кап Ферра. Они ни в чём не будут нуждаться! Ни минуты. Их нужно одеть как следует, потому что он слышал, что зимой они ходят почти что в том же, что и летом. Исида гордо сказала: «Я тоже так хожу!» – «Но есть же мсье Пуаре!» – мягко возразил Лоэнгрин. Зачем же эти простенькие туники? Кусок ткани вокруг тела... Ну да, да, она прекрасна и в нём...

Он решительно, совершенно ничего не понимал в Исиде. Это она увидела с первого мгновенья. Что ж. Он – тот, о ком она думала, её рыцарь. Постучалась судьба – открывая ворота.

Сколько денег ей надо? Полумиллиона фунтов хватит?

«Ветер с Олимпа – вот что он такое», – думала Исида.

А ещё, слушая Лоэнгрина, Исида вспомнила, что уже видела его. Это воспоминание прожгло её, как углём. Что это? Рок? Ужасно, что впервые они встретились у гроба. Это сулит несчастье! Но разве она могла отказаться от своего рыцаря даже сейчас, спустя пятнадцать минут после встречи? Нет!

Это было в 1901-м. Высокие церковные своды готического собора. Похороны её тогдашнего покровителя, князя де Полиньяка, родственника Лоэнгрина. Вся знать, множество знакомых и незнакомых лиц. Их представили друг другу. Исида видела его лишь мгновенье, лишь миг. Могла ли она знать, что будет? Красивый, статный. Отвернулась и забыла. Ничего тогда не почувствовала, не подсказало сердце. А сейчас это видение терзало её. Траур. Молчание, особый дух небытия.

Ах, как прыгали и резвились её девочки, наряжённые в разноцветные наряды Пуаре, как экзотические бабочки!

Разлетелись по трем машинам, которые должны были доставить их в Больё, на виллу Лоэнгрина. Исида была счастлива. Её рыцарь был сама любезность. Но! Он странным образом самоустранился из её жизни, едва доставил их на юг Франции. Взял и уехал. Исида ничего не понимала. Две недели прошли у моря, как в самом сладостном и томном из снов. Исида вспомнила детство, нищий Фриско, океан, ласкающий её, новорождённую Афродиту. Вспомнила Грецию и все лучшие минуты жизни, что непременно связывались у неё с морем, с волной, с прибоем. Она танцевала непрестанно, и дети танцевали вместе с ней. Удивительное они являли собой зрелище! Волнующее и необыкновенное. Но здесь, в роскоши вилл, никто не удивлялся никаким чудачествам. Миллионеры и гении только такими и могут быть! Конечно, Лоэнгрин – не гений. В обычном понимании этого слова. Но у него доброе и щедрое сердце. Разве в этом нет частицы Бога? На востоке говорят, что щедрость искупает множество грехов. Увы, уж больно непохожими были Исида и Лоэнгрин. Будто из разных миров. Она – не придающая значения ни условностям, ни деньгам, ни даже комфорту. Он – воплощение золотого тельца.

Через две недели Лоэнгрин приехал. Исида запомнила один вечер, когда они стояли рядом, плечом к плечу, и смотрели вниз, на море, плещущее далеко внизу. Закатное солнце расплавляло своё красное золото в водах. Оно дробилось, искрилось и играло. Миллионы чистейших бриллиантов, оправленных в него. Исида наконец поняла: Лоэнгрин просто не хотел торопить её. Он ни о чём не просил её. Ни единого знака, ни вздоха, ни взгляда. Сама корректность. Он ведь женат? Махнул рукой. Вообще-то – нет. О его победах над женщинами в Париже ходили легенды, Исида знала. Настоящий ловелас. Рыцарь!

Вдруг Лоэнгрин показал на белую точку вдали.

– Что это? – спросила Исида.

– Моя яхта. Моя слабость. «Леди Ивлин». Поедете со мной в Италию?

И вдруг задохнулся, как мальчишка.

Смотрел на её профиль на фоне распускающихся вечерних звёзд. Не поворачивая головы, она кивнула.

Так и стояло в её глазах потом много позже, будто было вчера: широкая палуба яхты, её чудесная доченька, кружащаяся по ней в танце-радости, качели-гамак, она, Исида, – вся, вплоть до шляпы, в белом, как сказочная королева, стол, сервированный серебром, хрусталём и цветами, полный роскошных яств...

До этой поездки, когда ещё не были близки, они оказались вместе на бале-маскараде в Париже. Для приглашённых – бомонда и богемы – было одно условие: одинаковые костюмы Пьеро и, разумеется, маски. Так все и явились, в том числе и Лоэнгрин с Исидой. Забавное было зрелище: все одинаковые, как близнецы. Тысяча печальных Пьеро. Голова кругом.

Один из них пригласил Исиду на танец. Лишь когда её спутник крепко схватил Исиду за талию и за руку, она поняла, что это – женщина. Пальцы сжимали её с яростью, до боли. Сразу шепот полился ей в уши:

– Оставь его! Он мой! Или пожалеешь!!!

Видимо, речь шла о Лоэнгрине.

– Прекрасно, – ответила Исида. – Забирайте. Я его не держу. И почему вы решили, что он мой?

Пьеро в ярости схватился за её волосы. Перед глазами Исиды мелькнуло лезвие ножа. Ещё мгновение... Лоэнгрин прыгнул к ней, как барс. Ударил Пьеро по руке. Нож со звоном упал на пол. Все веселились, лился вальс, никому не было до них дела...

– Кто это? Кто это? – лепетала Исида, когда Лоэнгрин тащил её прочь.

Тот только крепче сжимал зубы. Много позже Исиде рассказали, что до неё у Лоэнгрин была любовница – нищая аристократка, бывшая замужем за производителем шампанских вин. Этот негодяй смотрел сквозь пальцы на роман супруги, потому что он давал им обоим возможность жить не то что безбедно, а на широкую ногу. Вся эта роскошь мгновенно улетучилась, едва Лоэнгрин пленился Исидой.

Когда первый испуг прошёл, пожала плечами: что ж, такова жизнь, Пьеро придётся смириться.

Не успели они опомниться, Исиду вызвали к телефону: у одной из девочек её школы – опасный круп. Встревоженная, сопровождаемая Лоэнгрином, Исида моментально выехала. Девочка лежала вся чёрная, в жару и в бреду. Судорожно, со свистом дышала. Всю ночь они провели у кровати больного ребёнка, переживая и надеясь, меняя повязки и консультируясь с врачом. Малышке сделали три укола. Утром стало ясно: девочка вне опасности. Исида чуть не расплакалась от счастья. Лоэнгрин обнял её, она отдала ему свои губы. Эта девочка соединила их.

Спустя какое-то время подруга Мэри показала ей ту самую аристократку, Пьеро, которая чуть не пырнула Исиду ножом.

Странное дело: на балу она казалась и выше, и мощнее. Видимо, ярость придала ей сил. Исида решила: никакая. Худощавая, остренькая, резкая. Кость в горле!

Отвернулась и забыла. Увы, Пьеро и не думала ничего забывать.

Кстати, только с Лоэнгрином Исида стала настоящей гурманкой! Где же та девочка на развалинах Парфенона, готовая довольствоваться кружкой козьего молока и несколькими фруктами за целый день? В Париже Лоэнгрин знали метрдотели и официанты всех шикарных ресторанов. Все едва не падали перед ним ниц, когда он входил. Учитывая размер чаевых, которыми он швырялся, как грешный Крез, это было неудивительно. Исида быстро

научилась понимать толк в винах различных годов урожая, достоинствах рябчиков и трюфелей...

Иногда ей становилось не по себе. Когда представляла себе, сколько людей трудятся только для удовольствия и развлечения их двоих. Сколько прислуги вокруг! А те несчастные кочегары под их палубой, что поддерживают огонь в топках? Она не забыла уроков России, 1905-го года, печальной процессии угнетённых людей. Она не забыла своего голодного, кочевого детства.

Дни летели за днями, а она только отдыхала, как сытая кошка, и не делала ни единого движения для своего искусства! Вся жизнь на яхте была: рассвет, солнце полудня и закат – волшебное кружение вокруг них, облаканных лучами небесного светила. О, боги! Разве для этого она появилась на свет?

Исида сразу поставила Лоэнгрина условие: она – свободна! И никаких побрякушек в подарок! Они отнимают у неё свободу ощущения самой себя. Тянут ей руки и шею, убивают её суть. Исида знала, что её рыцарь дарил своим любовницам дома и бриллианты. Но с ней этот номер не пройдёт! Если он хочет быть с ней – пусть принимает такой, какая она есть. Предполагалось, что совершенно свободной и в выборе любовников. Она сама его не держит!

Всегда потом помнила: тогда полюбила его, своего волшебного рыцаря. Только вот за что? Для неё самой это оставалось загадкой. Он не был человеком её круга и её интересов. Когда она наслаждалась игрой актёров, он часто уходил из зрительного зала, не в силах бороться с зевотой. На светских раутах, когда она болтала обо всём на свете с выдающимися актёрами, блестящими композиторами, танцовщиками, драматургами, он молчал, тихо следуя за ней. Его так и запомнили: как любезного, но «никакого» молчуна. Он не понимал её мироощущения. Иногда доходило до ужасающих ссор! Буквально: из-за видения свободы человека, свободы Америки. Ей было стыдно, что кочегары мокнут возле топки, он считал – это в порядке вещей. Так за что же она его полюбила? Он был умелым любовником. Его поцелуи палились по всему телу, как стадо диких коз. Чувственность, чувственность и ещё раз чувственность. Она видела в нём то всемогущего Зевса, укрывшего её от всего зла этого мира, то белого лебедя, несущего её сквозь тучи невзгод. Он ласкал её, он баюкал, а она могла быть собой, и ещё – она начала соблазняться теми всходами, что даёт золотой дождь богатства.

Но этот Зевс был просто мальчишкой – ранимым, любознательным, капризным, увлекающимся. Видимо, нежность к нему, закравшаяся в её сердце, когда она это поняла, победила всё остальное. Его коллекцию древностей с раскопок она называла фантиками. Его архитектурные проекты – каракулями на песке. Он был самым занятым человеком в мире: с утра в субботу по телефону назначал время ланчей, диктовал названия блюд и прочих изысков, обговаривал фейерверки, которыми предполагалось удивлять гостей. В среду он мчался в Париж – заниматься очередным проектом, который, как быстро поняла Исида, он никогда не достроит. Сколько денег это стоило, но для него – лишь милое развлечение, средство от хандры. Лоэнгрин был человеком безумно увлекающимся, но стоило ему остыть к своей идее, он её бросал. Увы, к искусству Икиды он относился так же – как к игрушке. Неужели она думает иначе? Зачем ей вообще танцевать?! Его денег хватит на них двоих с головой.

К пятнице он возвращался. Чтобы принять кучу гостей, чтобы все пили-гуляли и были довольны.

Понемногу Исида стала уставать от такой жизни.

Лоэнгрин много раз предлагал Исиде выйти за него замуж. Она неизменно отказывалась. И не только потому, что не понимала, в чем смысл брака. А ещё и потому, что дала себе слово: она – только для искусства. Брак – это клещи, это наручники. Он будет иметь право ограничить её свободу?! Никогда! Что они будут делать вообще? Яхта, ланч, пирушки? Или

скорее так: ланч, пирушки, яхта – на сладкое. О, боги! А её танцы? Её предназначение?! Афродита, возрождённая из небытия? Её зрители? Весь огромный мир у ног?

Она ссорилась с ним. В тот момент, когда, по совету Станиславского, увидевшего её рядом с Лоэнгрином, твёрдо решила: она бежит вон из Парижа, в этот самый момент Исида узнала, что беременна. Буря чувств поднялась в ней: протест, надежда, тревога, радость и ещё что-то неуловимо возвышенное и отчаянное, всё то, что испытывает женщина, когда узнает, что станет матерью. Станиславский уверял её, что рядом с Лоэнгрином она погибнет. Неужели они, столь разные люди, любят друг друга? Однако, глядя на них, он должен был признать, что, видимо, да, любят. «Они были даже более женаты, чем многие женатые люди», – со смехом отмечал про себя. Ещё сравнивал Лоэнгрину в лучшие минуты с Морозовым: та же царственность, властность и меценатство.

Исида была в страшном сомнении, что ей делать? При мысли о том, что её тело снова расплывётся медузой, встал вопрос об аборте. Некоторое время она серьёзно обдумывала его. Консультировалась с врачом Дузе в Милане. Вернулась в гостиницу: снова сомнения-думы. Спальня была огромная и мрачная. Исида – совершенно одна. В редкие минуты жизни она так остро чувствовала одиночество. Её выбор, её решение. Она – и жизнь напротив. Сидела, уставшая, издерганная, смотрела в задумчивости на старинный портрет дамы восемнадцатого века и вдруг увидела, что глаза портрета устремлены прямо на неё – жестокие, холодные, инквизиторские глаза. Дама была красива. Исиде показалось, что она смотрит с издёвкой. Завороженная, не в силах от ужаса отвести взгляд, Исида ничего уже не видела вокруг, кроме этих глаз, лицо дамы будто растворялось в пространстве. Только она, Исида, – и эти живые, жуткие, жгучие глаза. Дама «спросила»: «Я красива?.. То-то. Всю смерть забрала... Стоит ли тебе страдать? Ха! Ты в ловушке. Что б ты не выбрала – конец один!»

Исида хотела ответить, что она верит в Жизнь и в Природу, но слова прилипли к гор-тани, потому что дама издевательски засмеялась.

Проснувшись ночью в испарине. Ужасный портрет смотрел на неё. Вызвала служащих отеля – портрет унесли.

Исида обычно не ходила в церковь. Даже не думала о вере, о Боге. Но так уж получилось: чьё-то венчание, она присутствовала. Это было в Венеции. Слушала низкий голос священника, разносящийся эхом-громом вокруг, улетающий под купол. Подняла голову. Там, высоко, в бесконечности, в полукружье, фрески Страшного суда, ада и рая. Вдруг что-то сместилось, какое-то лёгкое, как ветерок, движение. Лик маленького ангела, обращённый к ней! Нимб из золотых волос, пронзительно голубые, смотрящие в сердце, насквозь, какие-то совершенно особенные глаза. Исида сразу поняла: это он, её сын! Он пришёл к ней. С этой минуты знала, что не сможет сделать аборт. Потому что видела его лицо: точь-в-точь, которое суждено ей было увидеть снова через девять месяцев. А потом, через много лет, – тот же лик в чужом человеке, странном, гениальном русском мальчике, что был так похож на её сына... Подняла голову: ангела уже не было. Искала, искала его среди фресок. Странно, такое большое изображение – его не было.

Египет! Сколько бы Исида ни представляла себе его раньше, воображение её всё равно оказалось бессильным перед тем, что открылось её взору с палубы яхты. Какие там были утра! Будто все древние боги просыпались сразу, чтобы восхвалить красоту земли. Огромное солнце, чарующее, страшное, диск – в полнеба, вставало на востоке. Чтoб, охватив их с Лоэнгрином яхту, высветить бесконечность пирамид. Глупо думать, что они просто имеют определенную высоту и ширину, как любая геометрическая фигура, пусть и масштабная. Верхушка пирамиды – это начало неба. Потому что – стрела в него. Исида на мгновение «увидела» рано утром прошлое этого места, будто вставшее перед взором. Она была на

палубе одна, ей не спалось. Солнце, поднявшееся за спиною, ударило в древние гигантские ступени, отразилось всеми гранями. Вокруг Исида чудился шум голосов, бесконечное движение сотен и сотен людей, ветер колыхал горячий уже воздух, будто смещающий пространство, в котором вдруг покрылись зеленою берега и дали. Пирамиды стали ослепительно яркие, на них невозможно было смотреть. Белейший камень снежным покрывалом кутал треугольные пики, устремленные в бесконечность, в небо. Тот самый камень, что в веках был утрачен. Пирамиды – россыпь гигантских жемчужин в зелёной траве, сверкающих в лучах. Божественных жемчужин, брошенных божественной рукой. Исида чуть не ослепла от восхищения и ярости белизны. Не в силах терпеть, закрыла глаза, а когда снова открыла их, неведомого мира уже не было. Пирамиды снова приобрели желтоватый оттенок плит. Их окружала пустыня.

Кто она? Она, её истинное «я», «я есмь»? Просто танцовщица. Она танцевала всегда. Тысячи лет назад здесь, у этой могучей реки. Здесь она любила.

Солнце пронзало её всю, насквозь. Всё это вместе: древние стрелы-послания в небо, свет, преломившийся на их гранях и пронзивший её тело, тихий плеск искрящейся воды о борт, рождало в ней неведомые силы. Или это ангел, что носила она под сердцем? Исида танцевала. В полном одиночестве на солнце. Легко изящные босые ступни скользили по доскам. Легко касался её ветерок. В последнем движении она замерла, простерев руки к солнцу.

Лоэнгрин тихонько наблюдал за нею. «Браво! Исида вернулась к себе домой!»

Они пересели в дагобу – местное судно, потому что их яхта уже не могла пройти по сужившемуся Нилу. Исиде казалось иногда, что берега сдавливают суденышко, что до них можно дотянуться рукой...

Лоэнгрин вместе со спутниками отправился в экспедицию за древностями. Мальчишка! Исида с дочкой осталась на дагобе. Две недели пролетели незаметно. Лучше Исиде, казалось, не было никогда, так как почти сразу она поняла: времени здесь нет. Оно отсутствует. Вечность качала её в колыбели. Сонная вечность. Всё, что ей было надо, – это рассвет и глаза дочери рядом. А ещё тот, неведомый ангел, что уже бился в ней, готовый явиться миру. Ах, если б можно было остаться...

Ребёнок родился 1 мая 1910 года в Больё, на Лазурном берегу. Он не причинил ей мук. Исида плакала от радости и трепета, когда узнала уже виденные черты. Лоэнгрин был в восторге, снова предлагал выйти за него. Исида снова отказалась.

Смута и кровь, голод и мука, террор и боль – вот что терзало Русь и сердце Сергея. Прошёл хмельной угар восторга новым Преображением, потому что обернулось оно чёрным ликом смертей крестьянских. Повсюду, как очаги пожаров в засушливое лето, вспыхивали крестьянские бунты. Они были стихийными, как ветер. У них не было направления, не было поддержки. Их быстро уничтожали – топтали сапогами террора. Толпами, с яростью звериной бросались крестьяне на пулеметы, затыкая их своими телами. За дом свой, за детей голодных! С вилами, топорами и просто – с голыми руками – отвоёвывали своё право быть людьми...

Сергей мучился ужасно. Какой он хулиган?! Он – крестьянский сын. В Поволжье творилось страшное: людоедство. Опасно там было быть чужаком, ещё хуже – ребёнком. Выжженная земля, ни капли дождя с раскалённого неба. Карательные отряды, отбирающие последние крохи, бессилье, холера, тиф, грязь. Один знакомый рассказал, что нашёл в пирожке детский ноготок. Чуть с ума не сошёл. Мужчины, взрослые, бывшие когда-то крепкими, плакали, как дети. Молодуха родила мёртвого ребёнка. Втихаря быстрее закопала тельце – боялась родни...

Америка посылала гуманитарную помощь. «АРА». Несколько миллионов она спасла. До большинства не дошла. Сергей видел: плевать властям на смерть людей. Они – мясо для них, говядина. Бросить его в топку мировой революции! Вот лозунг Троцкого-Бронштейна! Да и всех их. Что такое русский мужик? Ещё народится! Да какое плевать! Хуже! У них – золотой запас. Им власть свою утвердить надо. Утвердить-удержать. Кто неугоден – подлежит уничтожению.

Иные пришли к нему виденья строчками: теми, что помнил с детства из Апокалипсиса.

Ездил в своё село. Что ж открылось ему? Убогий быт. Всё изнашивалось, обветшало. Нет самых простых вещей, наличия которых обычно даже не замечаешь: ниток, гвоздей, ситца. Не из чего одежду пошить, нечем табурет сколотить. Будто много-много лет прошло со времён его незабвенного, солнечного детства. Обезглавленная колокольня. Веками налаженный порядок был нарушен. Все горланят, чего-то ждут. Говорят: в Сибири – сыто! Только разве дойти до Сибири? Кем там быть? Батраками?

Деревня – слово-то какое древнее. Деревянное слово, древо мира, основа всего. А хаты – стая птиц, крыльями крыш стремящаяся к вечности небесного ирия, зорко очами окон смотрящая в даль лет. У каждого дома на крыше – конёк, символ небесных коней, тянущих его в голубень.

Да разве теперь он может крикнуть: «О, Русь! Взмахни крылами!»?

Жуткое время настало, невыносимое. Мать, отец да сёстры ещё не ведают, что в столице ещё страшнее, чем здесь. Тут – просто от голода можно умереть, а там... Слово-то какое изуверское, как шаги неизбежные – расстрел. Как представил Сергей уже далёкое, холодное осеннее утро 1918 года, на рассвете, пустые коридоры – и приклад в спину друга, Лёни. Двор, закрытый со всех сторон, стена. Заводят мотор, чтоб выстрела не слышно. А где-то совсем рядом – спящая улица. Холодный ветер с Невы. Как, ну как измерить весь его ужас в тот миг? О чём он думал?! Приговор чекистской «тройки». Они теперь кровью повязаны, большевистской властью. Лёня сразу всё понял, тогда, ещё в 1917-м, всё увидел, что будет. Ещё он, Сергей, не видел, ещё радовался. Иная страна, Преображение. Как, ну как Лёнька мог отважиться на это убийство?! На велосипеде думал от них удрать? Неужели надеялся спастись? Навряд. Знал всё наперед. И пошёл! Вот только не знал, что пешка он в их игре, что завтра Ленина должны убить. В Москве, пока все розыскные силы в Питер брошены. Погиб Лёнечка за идеалы правых эсэров. Все заголовки наутро пестрели: «Убийство Урицкого – председателя Питерского ЧК». Милый Лёнечка! Показать всем сволочам: он – тоже еврей! Но он – не такой!!!

Вспомнил сейчас его, в своем селе, как когда-то гостил Лёня у него, как ходили, юные, счастливые, на Оку, как километрами мерили округу. Аж до Рязани дошли и дальше – по монастырям. Лёнечка для него стал тогда – будто Гриша воскресший. Тоже тонкий, умный, нежный, в ширь полей и лесов наших влюблённый. И стихи его – не чета стихотворцам образа. Вот так же сидели на юру, смотрели вдаль, такие разные. Сергей – кучерявый, светлый, с васильковым взглядом. Лёня с волосами, как вороная гладь, да чёрные вишни крупных глаз. Не отвердевшие строчки, как неясные мотыльки, вертелись в голове, своим непредсказуемым полётом кружа голову. Когда Лёня уехал, он тосковал. «О, для тебя лишь счастье наше / И дружба верная моя». Так бывает, когда горячо влюбляешься в человека – ищешь его глазами везде, и в каждом – видишь знакомый лик. Сейчас, уже один, смотрел на любимую Оку – слёзы сами полились. Потому что сгинул его Лёня, как и Гриша, потому что вспомнил свои пророческие строчки, посвящённые другу. Про смерть, что смежит его глаза, про то, что «тенью в чистом поле» он пойдёт за ним, за смертью. Вспомнил все разговоры их, о том древнем Слове, что открылось Сергею, о пантеизме богов, о многоликой сути Бога, о смерти, о том, что слава стоит того, чтоб заплатить жизнью. Как он мог решиться?! Такой милый, тихий, ласковый. Разве всех жидов перебьёшь!!! Не так их надо. Захватили его Русь,

чтоб убить, извратить, опоганить всё русское, исконное, древнее и трепетное, чем сердце его, Сергея, дышит. Слез сейчас на Руси – как в реке воды. Слез – и крови.

Что за страна! Истинные сыны русские в ней не нужны! Никогда не знаешь, о какой камень споткнёшься – дорог-то нет. Всё заново, с чистого листа террора... Хотел Сергей ехать в Питер, к старинному знакомому, ещё с клюевских времен. Да перед отъездом заскочил к другому знакомцу, в один из переулочков Арбата, в Афанасьевский, кажется. Фамилия его была Кусикян, звали Сандро. Тоже поэт, хотя и плохой. А человек – симпатичный. Любитель частушек. Сергей улыбался, когда думал об этом. Обрусев, Сандро взял себе псевдоним, похожий на фамилию: Кусиков. У него был младший брат, Рубен, восемнадцатилетний парень. В 1919 году он служил в Красной армии помощником шофёра у командующего украинским фронтом Антонова-Овсеенко. Заболел тифом, остался в госпитале, когда Красная армия отступала. Пришедшие деникинцы мобилизовали его. Так он попал в Белую армию. Снова заболел, уже в Ростове. Попал к красным. Кем он был? Простым мальчишкой, волею судьбы кидаемым по просторам России. Выжившим, счастливо и тихо обретавшимся теперь под крылом отца. Чёрный Яков был частым гостем в их семье. Ему нравилось разговаривать с отцом Сандро и Рубена, нравились их сестры. Он даже дал партийную рекомендацию Рубену – для поступления на советскую службу чиновником, в Морской комиссариат.

Разве ж Сергей знал, куда его ноги привели? А привели они его в обыкновенную ловушку, столь хорошо описанную Дюма-отцом в «Трёх мушкетерах», за маленьким уточнением: то была ловушка ВЧК. Это когда всех входящих в дом впускают, но не выпускают никого. Взяли молочницу, сапожника, Сандро, случайно заглянувшего соседа и, разумеется, Сергея. Всех – на Лубянку. Что было причиной? Обыкновенный анонимный донос на Рубена. Де, мол, против он Советской власти, поскольку контра и белогвардейская сволочь.

Что он, Сергей, чувствовал там? Ужас. Это первое. Чего стоил рёв грузовых моторов на рассвете, заглушающий выстрелы и крики несчастных. Ведь каждый выстрел – это чья-то оборванная жизнь, юная, полная мечтами и надеждами. Потому что неюных там не было. Они, старые, застывшие, безнадёжные, сидели по домам, селам и весям. Грустные, как опавшие, пожухшие листья, не понимающие ни грана, что происходит вокруг, куда этот мир несётся, в какую пасть сатаны. Глаза у них – печальнее коровьих. Уже отжившие, как живые мертвецы.

Что он ещё чувствовал? Злость. Что за глупость – он – тут?! Им что, заняться больше нечем? Что, можно каждому в мозги влезть и прочесть там все мысли?!

Третье, что он чувствовал, – ненависть. Он этим сволочам ещё покажет, кто в доме хозяин! Жид на жиде. Здесь – тоже. Им русскую кровушку не жалко. Пусть хоть вся вытечет. Однако злость, конечно, не советчик. Аккуратно надо. Главное – вырваться отсюда.

Повели на допрос.

– С какого времени знаком с Кусиковым?

– С семнадцатого года. Да, лоялен к Советской власти. Произведения его говорят о том же: «В никуда», «Коевангелиеран» и другие...

Навряд ли они поймут, что это два слова – Коран и Евангелие... Звучит революционно.

– Да, он тоже вполне лоялен. Первый поэт в современном быте. А лавирование Советской власти, насаждающей социализм, – это только переходный этап к коммунизму. – Лавирование? В чем?

– Военная политика, мир с Польшей.

О чём он думал, говоря такую ересь в чекистском понимании? Играл с огнём.

– Кто подтвердит его благонадежность и возьмёт на поруки?

– Товарищ Луначарский, товарищ Ангарский, а ещё – Жорж Устинов, сотрудник правительственной газеты.

Говоря о Жорже, он вспомнил случай с ним, имевший место год назад. Да, он уже тогда знал, кто такой, этот Жоржик, несмотря на всю его любовь к поэзии...

Сидели большой и тёплой компанией в «Люксе», пили спирт, выкаченный из автомобиля. Зима 1919-го, холодная, лютая и долгая. Были: он, Толик, Вадим, Сандро Кусиков! – «рыцари образа», художник Дид Ладо, что вешал табличку на шею чугунному Пушкину, и, разумеется, хозяин дома, влиятельный красный журналист Жорж Устинов. Последний жаловался, что белые могут взять Воронеж. Все были пьяны в доску. Богемный, непредсказуемый, вольный Дид Ладо воскликнул, не подумав:

– Большевикам наладут! Слава богу!

Жорж молча вынул револьвер, взвёл его и направил на художника. Все оцепенели, мгновенно протрезвев.

Сергей понял: сейчас будет выстрел. Вадим и Сандро попытались преградить Устинову дорогу. Умоляли его не стрелять! Тот, не думая ни секунды, перевёл оружие на них.

– Будете защищать – и вас заодно!

Сергей один понял, что надо делать. Он снял башмак и, подскочив к Дид Ладо, начал лупить его им по голове! Выставляя своё «негодование» напоказ, приговаривая: «Ты дурак! Как ты мог такое!!! Про большевиков!»

Жорж, хозяин номера, опустил револьвер. Сергей тогда выиграл – всего несколько страшных секунд. Напряжение упало. Кроме всего прочего, несчастный художник выглядел весьма комично, колотимый ботинком. Устинов удовлетворился тем, что спустил «контру» с лестницы.

Вот такого человека он предлагал в свои поручители. Весьма лояльного к Советской власти, даже более того. Сергей догадывался: он из того же ведомства, что и все, кто служит на Лубянке. Журналистика – лишь официальный заработок.

Думал: вдруг узнают о его связях с царской семьёй?! Тогда – конец. В Чекушке всё знают. Мучительно соображал, как же ему выкрутиться, как же доказать, что он с самого начала – за Советскую власть?! На допросе показал, что в 1916 году был отправлен в дисциплинарный батальон за оскорбление престола. Так в протоколе допроса и написали. Спросили: когда? Заявил, что 29 августа был наказан на четыре месяца, до самой революции. В счёте он всегда неточен был: до революции оставалось целых полгода! На самом деле он просто опоздал на службу, из родного села не мог вырваться: крепко держали нежные руки помещицы Лидии. И тайная надежда на любовь единственной, простой и чистой Анны. Внучка отца Ивана, сельская учительница, она сказала уже Сергею своё ласковое «нет». Ещё тогда, когда им было по семнадцать лет. Но всё же...

Тот, кто выдумал твой гибкий стан и плечи,
К светлой тайне приложил уста.

За опоздание его посадили на десять суток в одиночную комнату, никак не охраняющуюся. Там же, в Феодоровском городке. Главное: здесь он был избавлен от урыльников и ужасов больничных палат. Даже начал набрасывать, пока в уме, новые стихи. Вот эти десять суток одной лишь силой воображения превратились у него в четыре месяца дисциплинарного батальона за оскорбление престола.

Поручился за Сергея Чёрный Яков. Объяснил, что поэт – вообще проходил мимо... Да и за братьев он хлопотал. У Якова полномочия большие были. Партбилет – Иранской коммунистической партии. То обвинение звучало так: «Контрреволюционное дело граждан Кусиковых». Такова сила доноса. Через две недели дело прекратили, выпустив братьев на волю. Оба бежали за границу.

Но разве тот, кто вышел с Лубянки, не остаётся в ней навсегда? Даже в Париже. Пройдёт несколько лет, и Сергей встретится с Сандро снова, не подозревая о том, что ядовитая инъекция предательства, полученная у комиссаров, уже разъела душу его друга...

Вспоминалось: Харьков, вечер имажинистов, Велемир Хлебников, его «венчание» на царство мира. Нарекли его Председателем Земного шара. Разве имя его иначе можно понять? Весь великий мир. Весело им было, хотя зал свистел и улюлюкал. Стихи Сергея понравились чуть больше других, кто-то крикнул из зала: «Эй, беленький, а ты-то что делаешь в этой компании?» Потом Велемир, никак не желавший отдавать «венчальное» кольцо и никак не способный понять, что это была шутка, пошёл показывать им самую главную теперь, самую страшную достопримечательность Харькова – местное здание ЧК. Было оно на окраине города, в конце большой улицы, возвышалось на утёсе, за ним был обрыв. В него-то, прямо из окон, и сбрасывали всю зиму трупы. Сейчас снег стал сходить, обнажая весь ужас и смрад неупокоенных тел. В народе так и прозвали это место: «Замок смерти». Тот, кто видел такое однажды, уже не забудет никогда. С этого мгновения будто пелена упала с глаз Сергея. Какое «Преображение»?! Его Русь распинают. Но не для того, чтобы воскресла. Тогда такая смерть казалась невысказанно далёкой, невозможной, такой, что может приключиться с кем угодно, только не с ним. Он был просто зритель жуткого зрелища. Но он-то при чём? Вдруг там одни преступники? Однако уж больно бесчеловечно. Вот теперь... Он был на Лубянке. Слишком хорошо понимал, как хрупка человеческая жизнь. Позже Хлебников написал поэму «Председатель чеки».

Сергей был волен распоряжаться собой, однако был ли? С этого момента он уже никогда не чувствовал себя свободным в своей любимой России.

Вернулся голодный, издёрганный, всё вспоминал мгновенье, когда выходил во двор. Потому что кто-то окликнул его. Оглянулся: Мина! Та самая девушка-эсерка, активная революционерка, с которой гуляли вместе по Питеру прекрасными летними ночами с Алёшей, Зинаидой. Как им всем тогда было хорошо! Как же она исхудала! Мина приблизила лицо к решётке, в крошечное окошко, насколько смогла. Плакала: «Серёжа, милый, Серёжа!» Что-то с ней будет? Ах ты, Мина, милая жидовочка, за что ж они тебя так. За эсерские идеалы, за свет твой радостный. Никак свет с тьмой не смешивается. Вовремя он от них отошёл тогда. Видел всё... Давно она там? Он неделю был, будто – вечность. Чего стоят расстрельные рассветы...

Долго потом не мог прийти в себя – голос Мины в ушах. И отмыться не мог, будто прилипла Лубянка к коже. Тщательно мыл голову, как всегда. Знал: нравятся всем его волосы, будто живые светятся, когда чистые. Главное – ему нравятся. От прозрачного их пшеничного цвета можно оттолкнуть лодку вдохновения, потому что сияют в них поля рязанские и небо родины – опрокинулось в глаза. Брил рыжую щетину, пудрил щёки «Коти», чтоб не отсвечивала.

Что-то оборвалось в нём навсегда. Оскорбление, пощёчина ему – вот что эта неделя такое...

С того дня задумал новое, большое произведение, поэму. Такое, чтоб всю душу свою зверину выплеснуть, чтоб все поняли, что творится с Русью...

Лознгрин был уверен: теперь, после рождения сына, Исида принадлежит ему безвозвратно, она успокоится, станет, как все. Ведь это так естественно для женщины – желать покоя, уюта, тихого семейного счастья. Кроме того, он опасался, что в любой момент может лишиться обожаемого сынишки, своего наследника, если вдруг сам надоест Исиде и она решит его бросить. На его настойчивое очередное предложение руки только подняла свои округлые брови. Она уже говорила, что замуж никогда не выйдет. Почему он снова спрашивает? Вот она, рядом с ним. Что ещё ему нужно? Но не думает ли он, что так будет вечно?!

В конце концов она согласилась на три месяца уехать с ним в Девоншир, где он чудом умудрился достроить огромное поместье – при его-то непоследовательности! – попробовать «счастье» тихой жизни. Лоэнгрин уверял, что удивится, если ей не понравится. А там и под венец – никуда не денется.

Это был не дом, а настоящий средневековый замок с остроконечными башенками и готическими окнами. В её распоряжении было сорок три комнаты, все с ванными, оборудованными по последнему слову техники. В гараже их ждали два десятка авто. Яхта – в порту. Огромный зал с начищенным до зеркальности паркетом был увешан старыми французскими гобеленами, точь-в-точь как в Лувре, и подлинником Давида, изображавшим коронацию Наполеона. Ужас. Исиду раздражало всё: королевское величие и пустота залов, безмолвная прислуга, появляющаяся, как привидение, в определённые часы, чтобы подать обильную, жирную еду, чопорность соседей, бездарей и бездельников. В конце концов она так затосковала, что Лоэнгрин не знал, что ему делать. Исида обладала странным, магическим свойством: её настроение молниеносно передавалось всем вокруг. Буквально каждое движение её души пронзало, как острое оружие. Была она весела – все светилось, грустна – меркло даже утро. Трудно было объяснить, почему так происходило. Возможно, привычка заставляла её невольно выражать себя в каждом неувловимом жесте, в каждом повороте головы. А тут ещё нудные, бесконечные девонширские дожди. Он сам предложил ей начать снова танцевать. Где? Исида удивилась – она упадёт на этом гладком паркете. Посмотрела на гордую осанку Наполеона. Как она сможет делать свои простые движения здесь, в этом помпезном зале, перед «императорским» взором?! И кто будет ей аккомпанировать?

Исида закрыла Наполеона и гадкие гобелены голубыми занавесями, на пол бросила густой ковер, позвонила импресарио в Париж с просьбой прислать пианиста.

Пианист приехал. Боже! Исида отшатнулась, когда увидела. Это был тот человек, Андре, присутствия которого она органически не выносила. Она и сама не знала, в чём тут дело, только физическое его присутствие вызывало в ней дрожь отвращения. Лоэнгрин был доволен: ему не к кому ревновать. Самое неприятное, Андре был давно, безнадежно влюблён в неё. Его обожающие, всепрощающие глаза приводили Исиду в бешенство. Андре был прекрасным пианистом, его композиторские находки были по достоинству оценены современниками. Для Исиды же он не существовал. Не вынося его взгляда, она закрывала его ширмами, когда он играл. Только так она могла отдаться музыке, её духу. Увидев это, одна знакомая графиня пришла в ужас. Нельзя же так обращаться с человеком! Это неприлично! Тихий, безропотный Андре и вздохом не показывал, что его задевает поведение Исиды. Только смотрел с безмолвным поклонением и всё прощал...

Графиня уговорила Исиду выехать на прогулку. Был дождь, автомобиль выбрали закрытый. В последнюю минуту графиня заставила сесть с ними и Андре. Исида была зажата между ним и графиней. Всю дорогу старательно смотрела в заплаканное окно в сторону графини. Исиду трясло от ужаса прикосновения к Андре. Все молчали. Проклятое авто! Исида никогда не выносила этот вид транспорта. Иногда думала, что машина – синоним смерти. Если уж ей суждено уйти в мир иной не в постели, то верно – это будет авто. Гадкая графиня, паршивый дождь, мерзкий Девоншир! Когда они с Андре соприкасались рукавами, она готова была выпрыгнуть на полном ходу, если б не сидела в серёдке. Не в силах более выносить эту пытку, Исида приказала шофёру разворачивать домой. Тот дёрнул руль слишком резко – Исида оказалась в объятиях Андре. Он удержал её. Его лицо близко, совсем близко, вдруг преобразилось совершенно. Исида вдохнула жар тела Андре – и загорелась до кончиков ушей. Почему же она не видела раньше, как он красив?! Слепая страсть накрыла её. Он всё понял мгновенно. Ехала обезумевшая, думая, что через минуты он уже не будет так близко. С этого дня единственное желание, владевшее ими, было уединиться. Он обладал ею в танцевальном зале на рояле и под ним, в дальних залах дворца. Ради близости с

ним Исида совершала долгие прогулки по окрестностям в дождливую слякоть и стынь. Он играл для неё так, будто день их – последний день в мире. Именно тогда Исида открыла для себя то, к чему стремится балет: воспарить, взлететь, остаться в небе – навсегда. Только балет делает это топорно, в лоб: прыжок, поддержка партнера, размах выпрямлённых ног. Но есть другой способ иллюзии полёта, тот, что нашла она когда-то. Древний танец, идущий из средоточия духа в груди, сила, растекающаяся из него. Сила эта течёт волнообразно и последовательно: от центра к плечам, к предплечьям, к кистям, к кончикам пальцев. Так же и с ногами. То есть будто замедленная волна. Она создаёт иллюзию полёта, того, что Исида, танцуя, не касается пола, а всё время парит. Потому что волна незаметно для глаза зрителя переходит из движения в движение, продолжаясь бесконечно. Границ, как в балете, между движениями нет, они размыты. Море, океан – вот что она такое, когда танцует. Дух плавно и свободно перетекает в её послушном теле. Божественная Исида! Она знала: когда смотрят на неё, кажется, что всё просто – ничего акробатического, напряженного, возьми и повтори! Многие пытались. Ей даже говорили: у вас нет техники. Но только она знала, что такое – полёт...

Лоэнгрин понял про безумный роман Исиды. Доложила прислуга? Быть может. Да Исида и не пыталась скрываться и хитрить. Лоэнгрин был в ярости. Почему сейчас, когда его скрутила очередная нервная хандра? Когда он целыми днями лежал в постели, думая, что умирает? У него смертельное воспаление лёгких! А она?! Рвал и метал. Пришлось расстаться с Андре. Исида видела: то была страсть. И только. Потому что к десятому дню безумия она не любила Андре так, как в первый...

Что ж, Лоэнгрин должен знать, какова она. Она его никогда не держала.

Чтобы не быть в тягость и Лоэнгину, Исида отправилась в турне по Америке. Будь что будет. Время покажет. Самое тяжёлое – ей пришлось в очередной раз расстаться с детьми. Что ж, такова жизнь артистки. Маленький Патрик – светлый ангел, сто раз поцеловала его. Что в материнском поцелуе? Страстная безнадежность и бесконечная грусть, целая вселенная, как на картинах Каррье, что подарил ей Лоэнгрин. Этот художник будто видел в материнстве целые звёздные миры, Млечные пути, уносящие в бесконечность. Они окутывали фигуры людей нежным, но плотным покрывалом, размывая контуры, удаляя пространство в глубины космоса. Поцеловала и свою девочку, нежную Снежинку, как звала её дома. Талантливая плясунья, изящная в каждом шаге, как Исида, милая шалунья – вылитая бабушка, Элен Терри. Исида сказала дочке, взяв её пальчики в свои, что, пока мамы не будет, она должна присматривать за братиком, она ответственна за него. Снежинка обещала, став очень серьёзной вмиг.

Исида любила детей звериной нежностью, бездонной лаской. Ей всего было отпущено в жизни много, избыточно. Материнской неизбывной любви – тоже.

Иногда ей казалось, что она живёт сто жизней...

Родина встретила Исиду триумфом. Нью-Йорк, Бостон, Буффало, Атлантик-сити, Фриско, город детства. Как он изменился! Она ходила по улицам и не узнавала ни одного угла. Где же тень маленькой девочки, вечно голодной и вечно танцующей, с бесконечной мелодией в сердце? Исида навестила мать. Больно было смотреть на неё, сломленную годами, безразличную ко всему, что не касалось её самое. Даже уголки её когда-то весёлого рта были опущены. Неужели это с ней они много лет назад отправились очертя голову с двадцатью пятью долларами в кармане покорять мир?! Исида готова была разреветься от боли. Нет, это какой-то другой человек перед ней. Она её не знает. Слушала маму, вся внутренне сжавшись. Простились холодно, как чужие. Исида долго потом не могла прийти в себя.

В это турне она явила соотечественникам иную себя, иную грань своего гения. Они шли на её выступления, надеясь увидеть лёгкое круженье нимфы, как опадающая листва в саду, ласковый бриз её шагов, навевающий бесконечное ощущение сильной волны. Но

увидели нечто невообразимое: переработанный «Орфей» Глюка, танец фурий, в котором Исида изображала мечущиеся в аду души, ужасные, искажённые болью. Её гримасы, изломанные жесты, весь яд и злоба, которые могут быть поняты людьми, – всё это было в её танце распада и отчаяния. Монохромность красок – все оттенки чёрного и коричневого. «Смерть Изольды» Вагнера. Полное слияние драмы, музыки и движения. Публика уходила ошарашенная и удрученная новаторством танцовщицы. Разве они, обычные американцы, могли тогда понять, что это – прорыв в будущее танца вообще?

Прошёл почти год в Америке. Вихрь выступлений, любовных интрижек с музыкантами и поэтами не принёс Исиде настоящего удовлетворения. Будто искала чего-то иного, настоящего. Любви! Очень скучала без детей. Однажды ей пришло из дома письмо. Первые осмысленные каракули дочки. И крошечная приписка: «Мама, я целую тебя». Видимо, кто-то водил рукой её ангела, её Патрика. Облила каракули слезами, засыпала с письмом под подушкой.

Одним из самых светлых и сильных впечатлений её жизни были первые мгновения возвращения домой. Патрик бежал ей навстречу! Она так и не увидела его первого шага. Как она плакала от счастья! Снежинка сказала, что она присматривала за братиком. И дядя Лоэнгрин навещал их.

Исида задумалась. Позвать его?

Лоэнгрин встретил её восторженно, будто ничего и не было. Просто она уехала на пару дней, а сейчас вернулась. Его глаза сияли силой, обожанием и затаённой страстью. Её рыцарь, её бородач!

Вместо того чтобы бежать от Исиды, он подарил ей студию в Нёйи. Купил огромное бесформенное здание в Париже, на улице Шово, и обратился к гению Пуаре. Словно в романе Дюма «Граф Монте-Кристо» за неделю всё в доме и вокруг превратилось во дворец и вековой сад. Просто огромные деньги, вложенные быстро, тысячи рук и один художник. Студия для Исиды должна была стать сюрпризом. Пуаре уже давно шил для неё танцевальные туники и роскошные вечерние наряды. Они – новое слово в мировой моде. Вряд ли кому-то приходит в голову спустя столетие, что свободные платья с заниженной талией – детище Исиды. И вообще – отсутствие корсета, этого пыточного инструмента женской красоты из китового уса. Нельзя быть естественной в корсете. Главное же в Исиде – именно природная грациозность дикой кошки и полная свобода движения.

У неё была только одна просьба – сделать зал для танца в её собственном вкусе: с голубыми занавесями на высоких окнах, пышным ковром на полу, зеркалами и низкими диванчиками и банкетками вдоль стен – для посетителей.

Весь Париж ахнул, когда двери студии в Нёйи распахнулись для друзей Лоэнгрин и Исиды. Центральный зал был оформлен в восточном стиле роскоши и загадки: тропический сад, уединённые диванчики под балдахинами для пар, бесшумные толстые ковры, фонтан, бьющий из пола и рассыпающийся разноцветными искрами в хрусталь бассейна... Но что гаремная нега этого зала по сравнению с изощренностью модерна тайной комнаты, созданной Пуаре! Признаться, он сам был удивлён своим творением, его изысканно эротичным декадансом. Чёрные бархатные портьеры струились от пола до потолка; зеркала, усыпанные золотыми звёздами, множились и околдовывали. Их было такое количество, что человек терялся в пространстве. Казалось, времени в этой комнате тоже нет. Таинственный свет, гладкость шёлковых подушек на диванчике – всё уносило в мир грёз и неправды.

Парижский бомонд явился в полном составе на азиатский костюмированный бал, который давал Лоэнгрин. Шампанское текло рекой, Исида его обожала. С некоторых пор она поняла, что это лучший мотор, который заводит вдохновение её движения. Оно не расслабляло Исиду, как других. Она пила его, чтоб ярче сверкать. Божественный нектар, молоко для взрослых людей – вот что оно такое. В этот вечер она очаровала всех. Как она танцевала!

Бесстыдно, роскошно, царственно. Ей одной было ведомо, как. Пожалуй, это было настоящее волшебство, если смотреть со стороны. Исида была в ударе – искристое вино не давало ей остыть.

Постепенно шум, овации, фонтан эмоций утомили гостей. Разбившись на парочки, все разбрелись по укромным углам, кто-то уехал. Исиде было очень хорошо. Всё-таки Пуаре – гений. Она поцеловала его сегодня при всех, даже при его супружнице. Видела, каким ядовитым взглядом та одарила её. Плевать. Должна же она была выразить своё восхищение Полем! Если его жена тупа как пробка – пусть обижается. Все эти люди, даже родственные ей по духу, – по сути своей несвободны. Все в тисках условностей, ревности, собственничества, жажды наживы. Неужели они не понимают, что никогда не воспарят в небеса, пока не смогут оторваться от земли? Сейчас она парила. Таинственная комната дробилась и множилась в шёпоте зеркал. Её кожу ласкали чьи-то губы. А он милый... Кто здесь? Зеркала отражали Лоэнгрина: одного, другого, третьего. Его лицо – в ярости, близко. Исида не шелохнулась. Драматург Анри, невинно ласкавший её только что, вскочил, начал что-то объяснять, лопотать. Исида даже не потрудилась накинуть ткань на грудь.

Лоэнгрин спустился в зал, крича: «Убирайтесь отсюда!!! Все!!! Нахлебники и подлецы – вот вы кто! Художники! Творцы! Ваше место в борделе! Ваше искусство – прикрытие для вашей грязной похоти!!!» Перевернул на ходу столик, напугав кого-то, и ушёл, хлопнув дверью.

Исида, спустившись к ошарашенным и протрезвевшим гостям, мило, тихо попросила знакомого пианиста играть Вагнера. «Иначе, – сказала она, – боюсь, вечер будет испорчен».

До утра танцевала «Смерть Изольды». В её танце была не только искренность, в нём была ирония. И это поняли все, каждый, до последнего человека. Никто не расходился. Ей бешено аплодировали. Исида думала, что теперь ей не видать обещанного Лоэнгрином собственного театра. Плевать. Сегодня был отличный бал.

Под чёрные занавеси пытался пробиться рассвет.

Шесть недель в России. Турне Исиды началось в Киеве. Ещё до поездки с ней стали происходить странные вещи: видения незнакомцев, тающих в воздухе, ночные кошмары. Она так измучилась, что решила: Россия – это то, что ей нужно. Во-первых, ей надо отвлечься, во-вторых, Россия странным образом всегда влияла на неё. Будто через эту белую в чёрном страну она получала некий импульс для своего движения в танце дальше, вообще направление своей судьбы. Словно эта земля что-то хотела передать ей, сообщить нечто, чему она, Исида, должна быть проводником. Кроме того, Россия дарила ей только успех. И хороший гонорар!

Она ехала со спутником в санях, яростная белизна снегов ослепляла. Несильный киевский морозец студил скулы. Вдруг увидела маленькие, будто детские, гробы. Они лежали немного вдалеке. Велела остановиться. Вытянула к ним руку, крикнула: «Смотри!» Её спутник ничего не видел. Она в отчаянии тормозила его. Неужели он не видит?! Вот же они, во-о-от! Тот с грустью в глазах качал головой и просил успокоиться: там ничего нет, простые сугробы. «Гробы!!!» – Исида расплакалась.

Теперь она была уверена: на неё надвигается нечто страшное. Видимо, её смерть. Россия просто показала ей то, что она уже прозревала и так...

По дороге в Петербург, в поезде, услышала музыку – всего несколько аккордов. Но она мгновенно узнала, что это: «Похоронный марш» Шопена! Звуки музыки быстро стихли, но продолжали звучать в её мозгу столь отчётливо, что Исиде казалось, будто музыка играла всю ночь напролёт. Она не сомкнула глаз. Танец рождался сам собой, помимо её воли. Кто-то управлял ею, просто дёргал за ниточки. Сумасшедшая спираль, явственное видение каждого жеста, каждого мгновения танца. Она прожила этот танец в ту ночь под стук колёс. Приехала

в расстроенных нервах, вся в жару. Велела позвать юриста, составила завещание. У неё было четкое чувство, что смерть рядом, как тогда, когда рожала свою девочку... Жар внезапно окончился, как начался.

В тот же вечер она танцевала. По окончании программы вдруг велела оркестру и своему пианисту играть «Траурный марш». Тот удивился, зная, что его нет в программе. Как же так, без единой репетиции? И к чему этот ужас? Но Исида велела – он заиграл. Боялся смотреть на сцену. Исида танцевала так впервые в жизни. Танцевала видение, явившееся ей в поезде. Танцевала – будто во сне. Её гонит по всему свету, она мечется, бесприютная, неутолённая, неистовая. Вдруг – страшный удар. Он сокрушает всё её существо, которое становится иным – бесплотным, бестелесным, безразличным. Её исполнение горя было столь убедительно, что зал после выступления молчал. Все встали, никто не хлопал. Она видела тысячи глаз, устремлённых на неё, безмолвных, потрясённых лиц. Казалось, зрители застыли в горе – никак не хотели принимать этот танец как игру, как лицедейство.

Станиславский хотел видеть её в бессловесной роли Офелии, но этому воспротивился первый гений Исиды, её Тед, по её же воле работавший со Станиславским. Что ж, это не её роль...

«Траурный марш» она исполняла трижды. По возвращении в Европу, в Берлине, – тоже. Ничего не изменилось – кошмары продолжали преследовать её. Доктора говорили, что это просто нервы, с ней ничего серьёзного, советовали отдыхать. Какая глупость! Исида много раз писала Лоэнгрину, надеялась помириться с ним. Увы, он не отвечал. Исида знала, что он сейчас с другой женщиной в Египте. Пусть развлекается, лишь бы снова вернулся. Разве он не знает уже её достаточно? Разве он не знает, что она его любит. Может, всё рассеялось бы как сон, обопрись она о его плечо прямо сейчас...

Однажды, когда она была одна в своей студии в Нёйи, увидела странную фигуру, с ног до головы задрапированную в чёрное, стоящую у изножья её кровати. Фигура чем-то напоминала её, Исиду, но лица она никак не могла разглядеть. Видение с сожалением покачало головой и исчезло.

Раньше она воспринимала двойной чёрный крест на золоте двери, придуманный Пуаре, просто как ничего не значащую фигуру, интересную по форме. Теперь он пугал её, казался ужасным и роковым. Что-то преследовало её, но что? К чему? Недаром же у греков существовало такое понятие, как рок. Человек бессилен, он – игрушка в руках беспощадной судьбы. Он мечется, тщится, думая, что решает, имеет выбор, а его нет... Именно так она и чувствовала тогда.

Исиде пришла странная посылка. Её подбросили в гримёрку. Имя получательницы было написано печатными буквами. Когда она развернула бумагу, то сначала обрадовалась: томик с античными мифами. Он сам собой раскрылся на странице, которая была заложена. Фотография древней скульптуры Ниобы – римской копии греческого оригинала. На этом же развороте был и сам миф. Ниоба, жена фиванского царя, похвалялась своими детьми, семью мальчиками и семью девочками. Богиня Латона разгневалась на неё. Как может эта смертная быть счастливее богов?! Как смеет она ещё и хвастаться этими комочками смертной плоти? Она приказала своим детям, Аполлону и Артемиде, убить детей Ниобы. Одного за другим они убивали детей на глазах матери. Когда у неё осталось только двое, мальчик и девочка, несчастная, закрывая их собой, взмолилась. Но Аполлон не пощадил их. Зевс превратил Ниобу в неподвижное изваяние, в камень, источающий слёзы, в воплощение материнского горя...

Теперь Исида боялась оставаться одна, первой заходить в комнату. Потому что однажды ей почудились три чёрные кошки, шмыгнувшие вдоль стен её танцевальной залы и растворившиеся в углах. Три чёрные птицы едва коснулись её щеки ветерком крыльев. Почему их всегда три? Только видение чёрного двойника не было тройственным.

Как-то раз перед выступлением заглянула в студию в Нёйи – повторить кое-какой рисунок танца. На пороге, на широкой лестнице перед дверью, лежала статуэтка из мрамора. Она была маленькая, не больше двух ладоней. Исида сразу узнала её и похолодела: это была Ниоба. Кто-то решил основательно потрепать ей нервы.

Статуэтку в дом она не внесла, оставила там, где нашла. Расспрашивала прислугу, садовника – никто не видел, как она попала на ступеньки. Исида не испугалась ни томика с мифами, ни этого последнего «подарка». Они были самые настоящие, их можно было потрогать руками, не то что ночные видения.

Шёл дождь. Исида смотрела в окно, капли падали на крошечную, застывшую в вечном молчании фигурку Ниобы...

Однажды она увидела в детской ужасных кошек. Это случилось во время посещения лорда Дугласа, сыгравшего роковую роль в судьбе Оскара Уайльда. Великий грешник в прошлом, он принял недавно католическую веру. Разумеется, кошек, столь явственно различаемых Исидой, он не видел.

Качал головой. Нежные, всё ещё красивые черты, когда-то сразившие Уайльда, исказились, тонкие пальцы дрогнули.

– Кто знает, может, здесь какая-то дьяволищина. Это детская? Милая, ваши дети ходят в церковь?

– Что? – Исида удивлённо подняла брови.

– Я спрашиваю, крещены ли они?

– Нет. Я никогда в Бога не верила. И не вижу надобности в крещении.

Лорд грозно выпрямился:

– В таком случае я совершу крещение прямо сейчас!

Он знал, что в крайнем случае любой католик, не только священник, имеет право произвести обряд крещения. Ему показалось, что сейчас именно такой случай.

Исида пожала плечами. Если ему так хочется, ведь это профанация... Велела принести воды.

Доктор Боссон настоятельно рекомендовал уехать. Исида отказывалась: у неё концерты в залах «Шатле» и «Трокадеро». «Ну так езжайте хоть в Версаль!»

Исида сняла там комнаты в отеле «Трианон». Перевезла туда детей и няню.

Пришёл день, когда она смогла скинуть чёрное наваждение своих ужасов. Она успокаивала себя сама. В самом деле, чего она боится? Она просто устала. У неё всё хорошо, дети, её танцы. Каждый вечер она ездила теперь из Версаля на выступления. Днём играла с детьми, учила их танцевать, просто гуляла с ними. Апрель распускался благоуханным воздухом, рвался почками и огромными розовыми цветами на деревьях – всем тем, чем Париж пахнет весной, когда, кажется, оживают даже булыжники мостовой, даже камешки Люксембургского сада, флаг Франции на мэрии, голуби вокруг Гранд-опера. Суета, суета, парижская суета. Прекрасны улочки, они созданы для влюблённых: так узки тротуары, что по ним можно ходить либо по одиночке, либо тесно обнявшись.

Танец её снова стал легок, а дух – светел. Она снова была рождённой Афродитой – прекрасной, непостоянной, чарующей. Когда-то на заре своего искусства Исида долго и мучительно решала: с кем ей быть, кому посвятить танец – солнечному, но рассудочному Аполлону, академичному, правильному, безупречному, или мятежному Дионису – разгульному, страстному, яркому, грешному. Он земной, не столь кристально светящийся, как Аполлон. Выбрала Диониса. Потому что танец – не дитя ума. Он дитя страсти. Праздник Диониса – танец обнажённых нимф вокруг пруда, вода в котором в одно мгновение становится вином.

Однажды, устав от вызовов на поклоны, вернулась в гримерную. Ахнула. Могла ли не узнать этот силуэт, сидящий в кресле спиной к ней? Беззвучно крикнула: «Леоэгрин!» Опустилась возле него, обняла колени. Он гладил её чудесные, длинные волосы. «Милая...»

– Как отдохнул в Египте?

Поморщился:

– После... Поужинаешь со мной?

Она кивнула. Договорились на завтра.

– Приведи детей. Я соскучился страшно.

В тот день Исида была счастлива. День был солнечным и нежным. Её ждал Лоэнгрин. Теперь она знала точно: они вместе навсегда, потому что она любит его...

В ресторане он снова признавался ей в любви.

– Знаешь, милая, я всё равно мог там думать только о тебе... Все места, где четыре года назад мы были так счастливы.

– Но ты же был не один! – смеялась Исида.

– Забудь. Это был просто мой маленький реванш.

Вместе с детьми доехали до студии в Нёйи. Там Исида осталась, отправив детей с няней в Версаль. Обещала быть к ужину, ведь сегодня выступления у неё не было.

Когда они сели в машину, Снежинка прижала губки к стеклу:

– Мама! Я тебя целую!

Машина была квадратная, чёрная, вся какая-то неуклюжая.

Исида прикоснулась губами к её губкам через стекло. Что-то кольнуло. Стекло было холодное. «Зачем, зачем поцеловала дочку через стекло?» – пронеслась мысль. Снежинка долго махала ей ручкой...

Когда Лоэнгрин ушёл, сладко уснула, съев подаренных им конфет, открыла глаза от нечеловеческого крика:

– Исида!!!!!!

Вскочила. Сердце билось неистово. Так бывает, когда просыпаешься после кошмара. В этом крике было всё: боль, страх, отчаяние. Голос Лоэнгрина. Когда он влетел в её комнату, она едва узнала его: он был страшен. Белое лицо, в котором жили одни глаза. Упал на колени.

– Исида... Дети...

Сначала она просто не понимала, что происходит. Вокруг неё крутились люди, доктора, Лоэнгрин безутешно рыдал, все шли чередой, жали ей нежно руки, многие плакали. Она старалась утешить каждого, как могла.

Три дня она не спала. Иногда она видела странные сны, с открытыми глазами. Вот она танцует с кем-то в костюме Пьеро. Она старается понять, кто это. Тянется сорвать маску. Пьеро смеется. Он не должен смеяться. У него печальная маска. Почему же этот – смеётся?! Где она слышала этот ужасный смех, этот шипящий голос? Наконец ей удаётся дотянуться – под маской оказывается ещё маска, каменного изваяния. «Ты?!» – в ужасе спрашивает Исида. Изваяние кивает...

Самый страшный миг был, когда она увидела своих малюток. Они лежали на тахте в студии. Коснулась их ручек. Они были холодными. Почему? Вспомнила последний холодный поцелуй через стекло. Услышала свой нечеловеческий крик. Тот самый, которым кричит мать, когда рождает...

Ей кололи морфий, чтобы она спала.

Нет, Исида не верила, что шофёр виноват. Да, он вышел из машины, потому что авто не заводилось, – крутить ручку. Да, забыл поставить на ручник. Разве он мог остановить эту машину? Он не звал на помощь. Почему? Вот только это. Бился головой о мостовую, пока оставались последние метры до Сены. Исида будто видела, как Снежинка обнимала братика, до последнего пытаясь защитить его.

Спустя несколько лет её подруга, Мэри, рассказывала, что происходило с Исидой после трагедии. Говорила о том, чего сама Исида не помнила. Как бегала вдоль страшной реки,

унёшей её малюток, много часов, не способная устать и просто упасть. Потом сказала: «Я решила. Если есть Бог, он меня убьёт сейчас. Если нет его, я должна пережить».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.